

Крушение кумиров

С. Л. Франк

Семен Леонгардович Франк

Крушение кумиров

[http://www.russiantext.com/russian_library/library/frank/02/;](http://www.russiantext.com/russian_library/library/frank/02/)

http://www.ccel.org/contrib/ru/xml/Frank_Idols_Downfall.zip

«С. Л. Франк. Крушение кумиров.»: Директмедиа Паблишинг; 2002

ISBN 978-5-94865-395-2

Аннотация

Семен Людвигович Франк - выдающийся русский философ, религиозный мыслитель и психолог. В книге "Крушение кумиров" (1923) Франк рассматривает гибельные стереотипы, сложившиеся в сознании людей.

С. Л. Франк

Крушение кумиров

Предисловие

Поводом к составлению этой книжки послужила речь, произнесенная на съезде русских студентов в Германии, созванном в Сарове под Берлином в мае 1923 г. Американским Союзом Христианской молодежи (American Y.M.C.A.).

Эта речь, в значительной мере импровизированная, встретила отклик среди студенчества, присутствовавшего на съезде. При письменной переработке ее мне казалось необходимым значительно расширить и дополнить ее, сохранив, однако, основное ее идейное содержание. Как и указанная устная речь, эти строки не содержат никакой теории или философской системы; и вместе с тем они не претендуют быть моральным поучением или религиозной проповедью. Вернее всего в них видеть исповедь, но не личную исповедь автора — автор не обладает ни достаточным смирением, ни достаточным сомнением, чтобы публично исповедоваться, — а исповедь как бы типического жизненного и духовного пути современной русской души вообще.

Мне кажется, что в духовном пути мыслящего русского человека, сознательно пережившего последнюю четверть века нашей, столь трагической, общественной и духовной истории и действительно чему-то из нее научившегося, содержится нечто объективно ценное и, в особенности, нужное ныне подрастающему поколению русской молодежи. Более того, мне думается, что, несмотря на столь большое различие и в количестве, и, главным образом, в содержании жизненного опыта этих двух поколений, между ними не только нет обычного непонимания и взаимной чуждости, а есть или, по крайней мере, возможна какая-то глубокая внутренняя солидарность мирозерцания и жизненного пути. Ибо духовные облики обоих поколений сформировались под влиянием одного в высшей степени значительного процесса, который начался задолго до революции и в ее трагическом опыте нашел лишь свое завершение. Этот процесс есть процесс рождения живой религиозной веры через крушение или гибель всех кумиров, которыми была соблазнена душа русского интеллигента XIX века и поклонением, которым еще в значительной мере доселе живет западноевропейское человечество. И я старался дать в меру моих сил объективное — но вместе с тем, в силу характера

темы, и неизбежно субъективное — описание этого процесса. Может быть, этот обзор кому-нибудь принесет пользу.

Исключительно трагический характер современной эпохи, неслыханное обилие в ней зла и слепоты, расшатанности всех обычных норм и жизненных устоев предъявляют к человеческой душе такие непомерно тяжкие требования, с которыми она часто не в силах справиться. Душа подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от всякой святости и предаться пустоте и призрачной свободе цинического неверия, либо с угрюмым упорством вцепиться в обломки гибнущего старого здания жизни и с холодной ненавистью отвернуться от всего мира и замкнуться в себе. Все старые — или, вернее, недавние прежние — устои и формы бытия гибнут, жизнь беспощадно отменяет их, избывая если не их ложность, то их относительность; и отныне нельзя уже построить своей жизни на отношении к ним. Кто ориентируется только на них, рискует, если он хочет продолжать верить в них, потерять разумное и живое отношение к жизни, духовно сузиться и окостенеть, — а если он ограничивается их отрицанием — духовно развратиться и быть унесенным мутным потоком всеобщей подлости и бесчестности. Время таково, что умные и живые люди склонны подлечь и отречься от всякого духовного содержания, а честные и духовно глубокие натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности. Но в той и другой склонности обнаруживается извращенное действие одного великого и по существу плодотворного и оздоравливающего духовного процесса. И в циническом неверии, и в иступленном, сознательном идолопоклонстве и староверчестве проявляется утрата прежнего душевного спокойствия, невозможность прежней, благодушно-наивной, ничем не искушенной веры и потребность в истинной вере, неосознанная устремленность воли к чему-то, что не было бы призрачно, а было бы подлинной, прочной реальной основой бытия. Тайный смысл этих опасных и гибельных блужданий, а также и исход из них я вижу в религиозном кризисе, в котором гибнут все кумиры половинчатого и поверхностного старого гуманизма и в глубинах духа назревает способность вновь воспринять откровение вечной и истинной жизни.

Германия. Ostseebad Zingst .

2 августа 1923 г .

С. Франк

I. КУМИР РЕВОЛЮЦИИ

Нынешнее молодое поколение, созревшее в последние годы, после рокового 1917 года, и даже поколение, подраставшее и духовно слагавшееся после 1905 года, вероятно, лишь с трудом может себе представить и еще с большим трудом внутренне понять мировоззрение и веру людей, душа которых формировалась в т. наз. «эпоху самодержавия», т. е. до 1905 года. Между тем вдуматься в это духовное прошлое, в точности воскресить его — необходимо; ибо та глубокая болезнь, которою страдает в настоящее время русская душа — и притом во всех ее многообразных проявлениях, начиная от русских коммунистов и кончая самыми ожесточенными их противниками, — и лишь внешним выражением которой является национально-общественная катастрофа России, — эта болезнь есть следствие или — скажем лучше — последний этап развития этого духовного прошлого. Ведь доселе вожди и руководители всех партий, направлений и умственных течений — в преобладающем большинстве случаев люди, вера и идеалы которых сложились в «дореволюционную эпоху».

В ту эпоху преобладающее большинство русских людей из состава т. наз. «интеллигенции» жило одной верой, имело один «смысл жизни»; эту веру лучше всего определить как веру в революцию. Русский народ — так чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом устаревшей, выродившейся, злой, эгоистичной, произвольной власти. Министры, губернаторы, полиция — в конечном итоге система самодержавной власти во главе с царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в народной

нищете, в народном невежестве, в отсталости русской культуры, во всех совершаемых преступлениях. Коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам единственным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и заменилось добром, и наступил золотой век всеобщего счастья и братства. Добро и зло было тождественно с левым и правым, с освободительно-революционным и консервативно-реакционным политическим направлением. (Отметим сейчас же: теперь этот болезненный политизм, этот своеобразный недуг сужения духовного горизонта также очень широко распространен, только с обратным знаком: для очень многих теперь добро тождественно с правым, а зло — с левым .

Но не только добро или нравственный идеал совпадал с идеалом политической свободы; наука, искусство, религия, частная жизнь — все подчинялось ему же. Лучшими поэтами были поэты, воспевавшие страдания народа и призывавшие к обновлению жизни, под которым подразумевалась, конечно, революция. Не только нигилисты 60-х годов, но и люди 90-х годов ощущали поэзию Некрасова гораздо лучше, чем поэзию Пушкина, которому не могли простить ни его камер-юнкерства, ни веры в самодовлеющую ценность искусства; мечтательно наслаждались бездарным нытьем Надсона, потому что там встречались слова о «страдающем брате» и грядущей гибели «Ваала». Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского представлялись хулой на духа святого; в 90-х годах литературный критик Волюнский, который осмелился критически отнестись к этим неприкосновенным святыням, был подвергнут жесточайшему литературному бичеванию и бойкотом общественного мнения изгнан из литературы. Научные теории оценивались не по их внутреннему научному значению, а по тому, клонятся ли они к оправданию образа мыслей, связанного с революцией, или, напротив, с «реакцией» и консерватизмом. Сомневаться в правильности дарвинизма, или материализма, или социализма значило изменять народу и совершать предательство. Не только религия, но и всякая не материалистическая и не позитивистическая философия были заранее подозрительны и даже заранее были признаны ложными, потому что в них ощущалось сродство с духом «старого режима», их стиль не согласовывался с принятым стилем прогрессивно-революционного мировоззрения. Впрочем, исключения допускались или по крайней мере терпелись: для этого только нужно было, чтобы автор еретической идеи либо доказывал, что эта идея согласима с революционной верой и даже необходима для нее, либо чтобы он вообще был настроен политически-благонамеренно (т. е. держался «левого» образа мыслей) и — еще лучше — чтобы он пострадал от правительства. Так, Владимира Соловьева терпели и даже немного уважали за его речь о помиловании террористов, за статьи о национализме и за сотрудничество в «Вестнике Европы». За это ему прощали, как странное личное чудачество, наивную и вредную веру в Бога и церковь. Когда в первые годы 20-го века начал нарождаться философский идеализм, — что было хотя лишь робким началом, но все же первым существенным шагом в преодолении господствующего мировоззрения, первым симптомом того духовного кризиса, который во всей глубине своей сказывается лишь теперь, — то он отчасти ради самозащиты, отчасти по искреннему убеждению драпировался также в политическую мантию: наиболее убедительным аргументом в его пользу считалось, что «философский идеализм» необходим, как основа моральной самоотверженности в политической борьбе. И лучшим оправданием веры в Бога, когда впервые раздалась в кругах интеллигенции эта неслыханная дотоле проповедь, служило рассуждение, что эта вера не только не реакционна, но, напротив, одна лишь обеспечивает политический прогресс и освобождение народа.

Положительная политическая программа не у всех была одинаковой: существовали и либералы, и радикалы-демократы, и социалисты-народники, отрицавшие развитие капитализма и требовавшие сохранения общины, и социалисты-марксисты, призывавшие к развитию капитализма и отрицавшие полезность крестьянской общины. Но не в этих деталях программы было дело, и внутреннее, духовное различие между представителями разных партий и направлений было очень незначительным, ничуть не соответствуя ярости теоретических споров, разгоравшихся между ними. Положительные идеалы и

разработанные программы реформ, вообще взгляды на будущее были делом второстепенным; ибо в глубине души никто не представлял себя в роли ответственного, руководящего событиями политического деятеля. Главное, основная точка устремления лежала не в будущем и его творчестве, а в отрицании прошлого и настоящего.

Вот почему веру этой эпохи нельзя определять ни как веру в политическую свободу, ни даже как веру в социализм, а по внутреннему ее содержанию можно определить только как веру в революцию, в низвержение существующего строя. И различие между партиями выражало отнюдь не качественное различие в мировоззрении, а главным образом различие в интенсивности ненависти к существующему и отталкивания от него, — количественное различие в степени революционного радикализма. Земцы-либералы, связанные с местной жизнью и по опыту знакомые с ней, упрекали радикальных революционеров в незнании русской жизни, в поспешности их требований, которые казались им не столько вредными, сколь лишь неосуществимыми. Революционеры упрекали либералов в личной трусости, которая усматривалась во всяком уклонении от подпольно-революционной деятельности или в дряблости нравственно-политического темперамента, в нерешительности и половинчатости в борьбе с существующим строем. Либералы и «умеренные» в глубине души сами чувствовали себя грешниками, слабыми людьми, неспособными на героизм революционеров; их совесть была неспокойна. Критиковать социализм или радикальный демократизм по существу никому не приходило и в голову; или, в лучшем случае, это можно было делать в узком кругу, в интимной обстановке, но отнюдь не гласно: ибо гласная, открытая критика крайних направлений, борьба налево были недопустимым предательством союзников по общему делу революции. Не только критика социализма и радикализма была неслыханной ересью (еще в 1909 году участники сборника «Вехи», впервые решительно порвавшие с этой традицией, встретили негодующее порицание даже умеренных кругов русского общества, и П. Н. Милюков, выражавший ходячее общественное мнение либералов формулой «у нас нет врагов слева», счел своей обязанностью совершить лекционное турне, посвященное опровержению идей «Вех»), — но даже открытое исповедание политической умеренности требовало такого гражданского мужества, которое мало у кого находилось. Ибо не только «консерватор», «правый» было бранным словом; таким же бранным словом было и «умеренный». Сейчас же приходили в голову осмеянные Щедриным типы, символы «умеренности и аккуратности»; «умеренный» — это был обыватель, робкий, лишенный героизма, из трусости или нерешительности желавший примирить непримиримое, существо, которое «ни горячо, ни холодно», которое идет на недопустимые компромиссы. Как указано, сами «умеренные» не имели в этом отношении чистой совести, чувствовали себя не вполне свободными от этих пороков; в огромном большинстве случаев они смотрели на революционеров, как церковно-настроенные миряне смотрят на святых и подвижников — именно, как на недостижимые образцы совершенства. Ибо чем левее, тем лучше, выше, святее. Ироническая формула «левее здравого смысла» раздалась впервые после 1905 года и принадлежит уже совсем иной эпохе, есть уже симптом крушения всего мировоззрения. Если попытаться как-нибудь все же определить положительное содержание этой столь пламенной и могущественной веры, то для нее нельзя отыскать иного слова, кроме «народничество».

«Народниками» были все — и умеренные либералы, и социалисты-народники, и марксисты, теоретически боровшиеся с народничеством (понимая последнее здесь в узком смысле определенной социально-политической программы). Все хотели служить не Богу, и даже не родине, а «благу народа», его материальному благосостоянию и культурному развитию. И главное — все верили, что «народ», низший, трудящийся класс, по природе своей есть образец совершенства, невинная жертва эксплуатации и угнетения. Народ — это Антон Горемыка, существо, которое ненормальные условия жизни насильственно держат в нищете и бессилии и обрекают на пьянство и преступления. «Все люди выходят добрыми из рук Творца», зло есть лишь производное последствие ненормального общественного строя — эта формула Руссо бессознательно — ибо сознательно мало кто отдавал себе в том отчет — лежала в основе отношения к народу. Интеллигент чувствовал себя виноватым перед народом уже тем, что он сам не принадлежал к «народу» и жил в несколько лучших материальных

условиях. Искупить свою вину можно было только одним — самоотверженным служением «народу». А так как источник бедствий народа усматривался всецело в дурном общественном строе, в злой и порочной власти, то служить «народу», перейти на его сторону значило уйти от «ликующих, праздно болтающих, обгадряющих руки в крови», в стан «погибающих за великое дело любви», объявить власти и всем врагам народа беспощадную войну: другими словами, это значило стать революционером. Народничество и было мировоззрением, в силу которого весь душевный пыл, вся сила героизма и самоотвержения сосредоточивалась на разрушении — на разрушении тех политических или социальных условий жизни, в которых видели единственный источник всего зла, единственную преграду, мешавшую самопроизвольному росту добра и счастья в русской жизни. Любовь к народу, сочувствие к его страданиям были исходной точкой этого умонастроения; но эта исходная точка нравственного пути в практике душевного опыта заслонялась и оттеснялась на задний план эмоциями, необходимыми для осуществления нравственной цели, — эмоциями ненависти к «врагам народа» и революционно-разрушительной ярости. Мягкий по природе и любвеобильный интеллигент-народник становился тупым, узким, злобствующим фанатиком-революционером, или, во всяком случае, нравственный тип угрюмого и злого человеконенавистника начинал доминировать и воспитывать всех остальных по своему образцу.

Все это звучит почти как карикатура, но есть лишь точное описание того, что составляло еще 20 лет тому назад, а отчасти и гораздо позднее, весь смысл жизни русского интеллигента. Мы описываем все это не для того, чтобы насмеяться над нашим недавним духовным прошлым, которое на наших глазах воплотилось в столь ужасную политическую действительность коммунистического строя. Сейчас, когда всякий мало-мальски здравомыслящий человек воочию видит уродливость и ложность этой веры, осмеяние ее не многого стоит. Конечно, там, на родине, где омертвевшие формулы этой ложной веры губят жизнь и творят бесчеловечные, несправедливые дела, действенная и идейная борьба с ними есть гражданский долг. Но в области подлинной духовной жизни эта вера теперь уже столь мертва, ее горение в душах так основательно потухло, что изобличать ее и глумиться над нею было бы делом слишком дешевым. Наше время тем меньше имеет права на это, что все уродство этой веры продолжает в значительной мере жить в нем, лишь с обратным, противоположным содержанием. Сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким политизмом, — людей, для которых, как мы уже поминали, добро и зло совпадает с правым и левым (как оно раньше совпадало с левым и правым) и которые на вопрос о смысле их жизни могут ответить только: «ненависть к большевикам»! Мы описали это прошлое для того, чтобы оживить в памяти невероятную силу над русскими умами и душами этого кумира революции, глубину и могущество веры в него. Здесь, где мы занимаемся не политикой и политической пропагандой, а осмыслением нашего духовного прошлого и настоящего, мы можем и должны помянуть не только ложность и нелепость содержания этой веры, но и нравственно-духовную силу ее власти над душами. Вспомним, что тысячи и десятки тысяч русских людей, между которыми было много подлинно талантливых, вдохновенных душ, жертвовали ради этого кумира своей жизнью, спокойно всходили на виселицы, шли в ссылку и в тюремное заключение, отрекались от семьи, богатства, карьеры, даже от духовных благ искусства и науки, к которым многие из них были призваны. Со скорбью об их заблуждениях, но и с уважением, которого заслуживает даже самая ложная и зловредная вера, должны мы вспомнить об этой рати мучеников, добровольно приносивших себя в жертву молоху революции. О них поведал Европе в эпической книге Кеннан, они приводили своим героизмом в восхищение Ибсена, изнывавшего от мещанской пошлости благополучной европейской жизни. Чтобы понять трагедию крушения этой веры, нужно, прежде всего, ощутить ее былую силу и обаятельность. Все ужасное, бушующее пламя русской революции разгорелось от огня этой веры, благоговейно хранимого в душах в течение более полувека. И когда в душах интеллигенции, начиная с 1905 года, этот пыл начал уже потухать, и, в особенности, когда интеллигенция в октябре 1917 года в ужасе и смятении отшатнулась от зажженного ею же пожара, огонь этой веры перешел в души простых русских мужиков, солдат и рабочих. Ибо сколько бы порочных и своекорыстных вождений ни соучаствовало в русской революции — как и во всякой

революции, — ее сила, ее упорство, ее демоническое могущество и непобедимость объяснимы только из той пламенной веры, во имя которой тысячи русских людей, «красноармейцев» и рабочих, шли на смерть, защищая свою святыню — «революцию». А сколько есть еще доселе интеллигентов, людей, считающих себя мыслящими и разумными политическими деятелями, которые и теперь еще, когда сама жизнь громко вопиет о ложности и гибельности этой веры, продолжают судорожно за нее цепляться, ибо боятся, утерав ее, утратить смысл жизни. Одни, в рядах коммунистов, упорно слагают с себя ответственность за все сотворенное зло, погрязают в преступлениях, оправдываемых политической необходимостью, — только потому, что не имеют внутреннего мужества отречься от ложной веры, не в силах признаться, что они впали в роковое заблуждение. Другие, ужаснувшиеся злу, которое принесла революция, стараются ответственность за него снять с самой революции и перенести на отдельных людей или на отдельную партию.

Так некоторые, отчасти в бессознательной слепоте, отчасти из упорного нежелания сознаться в банкротстве своей веры, продолжают — во имя революции — геройствовать в борьбе с порядком, порожденным революцией, как они раньше геройствовали в борьбе со старым порядком. Все это — явления судорожного, отчаянного стремления искусственно раздуть потухающий огонь старой веры; обаяние которой было так безмерно велико и всевластно.

Но все же — вера эта умерла и ничто уже не в силах воскресить ее. Кумир, которому поклонялись многие поколения, которого считали живым богом-спасителем, которому приносились бесчисленные человеческие жертвы, — этот кумир, которому сейчас тупые фанатики или бессовестные лицемеры вынуждают еще поклоняться, во имя которого расстреливают людей, калечат русскую жизнь, издеваются над истинной религией, — именно в силу этого потерял свою власть над душами, изобличен как мертвый истукан. Живые души в ужасе и омерзении отступились от него. Большевики со своей точки зрения вполне правы, когда обвиняют русскую революционную интеллигенцию в «предательстве». Они не понимают лишь или не хотят понять глубокой трагедии, оправдывающей эту измену. Интеллигенция в момент осуществления высших своих надежд, в момент наступления чаемого в течение более полувека «царства Божия» — именно наступления революции и торжества ее идеалов — вдруг поняла, что бог-спаситель ее заветной веры есть ужасное, всеистребляющее чудовище или мертвый истукан, способный вдохновлять лишь безумных и лишь на безумие и убийственные дела. Острота этой трагедии смягчена и прикрыта отчасти тем, что она совершалась в смене поколений, отчасти тем, что в более чутких сознаниях она назревала уже давно, по меньшей мере с 1905 года, отчасти, наконец, в силу общего защитного приспособления человеческого духа, загоняющего в бессознательные глубины все наиболее тягостное и не допускающего озарения его светом ясного сознания.

Но что, собственно, здесь изобличено как ложное и злое начало, какая именно вера умерла в душах, какое божество раскрылось как мертвый кумир? Совершенная ясность здесь далеко еще не достигнута. Одни, наименее чуткие, думают, что достаточно внести в старую веру маленькие поправки, наложить заплатки на лохмотья старых знамен, подвести подпорки под разваливающегося истукана и подклеить его трещины, чтобы все сразу вновь увидели в нем прежнее, лучезарно-обаятельное божество. Говорят: «мы ошибались в степени подготовленности русского народа, который еще не созрел для социализма или для революции вообще»; или: «мы поняли теперь, что социализм есть благо лишь в неперменном сочетании с демократическими началами, а вне связи с ними есть зло», и т. п. Те, кто находятся в таком духовном состоянии, нас здесь не интересуют; это — либо толстокожие, тупые упрямы, которых ничем не прошибешь, либо же люди, боящиеся сами себе сознаться в глубине и значительности происшедшей духовной катастрофы. Другие, более глубоко потрясенные — такие, вероятно, преобладают — делают более радикальные выводы: они говорят, что жизнь изобличила ложность социализма, или революционизма, и что поэтому отныне надо начать служить прямо противоположным идеалам: надо провозгласить священность института частной собственности, надо восстановить монархию, уверовать в принципы консерватизма и т. п. Все это отрицательно вполне правильно, т. е. поскольку сводится к честному констатированию

окончательного крушения старой веры. Но все это далеко не так радикально, как это кажется и как это необходимо. Ибо опрокинуть один кумир, для того чтобы тотчас же воздвигнуть другой и начать ему поклоняться с прежним изуверством, не значит освободиться от идолопоклонства и окончательно понять смысл происшедшего его изобличения. Пусть социализм как универсальная система общественной жизни изобличен в своей ложности и гибельности; но история показывает, что и крайний хозяйственный индивидуализм, всевластие частнособственнического начала, почитаемое за святыню, также калечит жизнь и несет зло и страдания; ведь именно из этого опыта и родилась сама вера в социализм. Пусть революционность, жажда опрокинуть старый порядок, чтобы все устроить заново в согласии со своими идеалами, есть величайшее безумие; но история показывает, что и контрреволюционность, когда она овладевает душами как абсолютное начало, способна стать таким же насильственным подавлением жизни, революцией с обратным содержанием. Пусть так называемые «демократические идеалы» — свобода, всеобщее избирательное право и т. п. — неспособны уже, после пережитого, зажечь души верой; но и слепая вера в монархию есть для нас тоже поклонение кумиру. Вообще говоря — все общественно-политические, социальные принципы на свете относительны. Дело специалистов, людей научного знания и общественного опыта — расценить относительное значение каждого, степень его полезности или вредности, условия и формы, при которых они могут оказаться целесообразными или которые, наоборот, делают их неуместными. И наряду с этим трезвым, спокойным научным знанием каждая эпоха имеет в этой области свои увлечения, свои односторонности, — и ни одна такая вера не вправе с презрением говорить о другой и считать себя единоспасающей. Идолопоклонство революционной веры заключалось не только в том, и даже совсем не в том, что она имела ложные или односторонние социально-политические идеалы, а в том, что она поклонялась своим общественным идеям как идолу и признала за ними достоинство и права всевластного божества. То, что сейчас погибло и крушение чего есть, быть может, единственное оправдание или единственный смысл всей общественной катастрофы, есть не только определенное общественное мировоззрение, а именно сама качественная природа ложной, идолопоклоннической веры.

Но мы уже невольно вышли за пределы обсуждаемой здесь темы. Собственно, крушение кумира революции как такового — какими бы хитросплетениями разума ни пытались некоторые еще спасти этот кумир — настолько очевидно, есть столь бесповоротный факт русского духовного развития, что подробно говорить о нем — именно в контексте духовного развития — не было бы даже особой надобности, — сколько бы ни приходилось кричать о нем на перекрестках политической жизни. Но дело в том, что кумир революции был еще так недавно укоренен в таких глубинах духа, что его крушение не может пройти бесследно для всей структуры духовной жизни. Кумир этот столь тесно был связан с рядом других кумиров, что он неизбежно увлекает их за собой в своем падении. Другими словами, его падение есть только начало, первый этап или первый симптом наступающего глубокого духовного переворота, наличность которого многие смутно ощущают, но лишь немногие осмыслили до конца. В предыдущих строках мы уже вплотную подошли к усмотрению крушения иного, еще более универсального кумира — кумира политики вообще.

II. КУМИР ПОЛИТИКИ

Разочарование, овладевшее душами в результате крушения идеалов революции, в результате того, что напряженно-страстная, самоотверженная политическая борьба за осуществление «царства божия на земле» привела к торжеству царства смерти и сатаны, — это разочарование гораздо глубже простой потери веры в определенные, частные политические идеалы социализма, демократии и т. п. Многие ощутили, не отдавая себе в том сознательного отчета, — а кто имеет очи, чтобы видеть, те ясно увидели в частной, с известной точки зрения случайной, судьбе русской революции нечто гораздо более многозначительное и общее — именно крушение политического фанатизма вообще. Дело не в одних частных ошибках старого мировоззрения — не только в том, что социализм есть утопия, в своем

осуществлении губящая жизнь, или что было ребяческой наивностью усматривать все зло жизни в носителях старой власти или в ее системе и считать безгрешными и святыми и весь русский народ, и в особенности деятелей революции. Если отвлечься от частных и сосредоточиться на основном — не есть ли судьба русской революции судьба, прежде всего, всякой революции вообще? Не то же ли самое случилось и во французскую революцию, где во имя торжества разума творилось дикое безумие, где во имя свободы, равенства и братства воцарился чудовищный деспотизм, всеобщий раздор и панический ужас, бессмысленное истребление людей и разрушение хозяйственной жизни, разнуздались садистские инстинкты мести ненависти и жестокости? Не то же ли самое творилось и в английскую революцию, где строгие добродетельные пуритане с именем Бога на устах после ежедневной утренней молитвы беспощадно истребляли мирных инакомыслящих людей, в которых они видели «безбожных амалекитян и филистимлян», и на радость сатаны мечом и разрушением пытались насаждать в личной и общественной жизни чистое пуританское благочестие? История революций в бесконечных вариациях и видоизменениях повторяет одну и ту же классически точно и закономерно развивающуюся тему: тему о святых и героях, которые, горя самоотверженной жадой облагодетельствовать людей, исправить их и воцарить на земле добро и правду, становятся дикими извергами, разрушающими жизнь, творящими величайшую неправду, губящими живых людей и водворяющими все ужасы анархии или бесчеловеческого деспотизма. Дело не в том, значит, какие именно политические или социальные идеалы пытаются осуществить; дело — в самом способе их осуществления, в какой-то основной, независимой от частного политического содержания морально-политической структуре отношения к жизни и действительности во имя общественного идеала.

Но, может быть, такова роковая судьба именно только революций, возмущений низших классов, низвержений тронов и исторически сложившихся порядков? История революции в этом смысле есть, конечно, особая тема, имеющая свою собственную закономерность. Но духовный взор, достаточно изощрившийся на страдальческом опыте революции и потому обзоревающий достаточно широкий горизонт, не останавливается на этом. Он видит дальше и видит ту же трагедию или то же сатанинское превращение добра во зло и во всех контрреволюциях, религиозных войнах, во всех вообще насильственных осуществлениях в жизни каких-либо абсолютных идеалов общественно-духовного устройства. Разве мы не имели опыта «белого», контрреволюционного движения, воодушевленного самыми чистыми и бесспорными идеалами спасения родины, восстановления государственного единства и порядка, — движения, которое, правда, не имело своего торжества и потому в памяти многих сохранило свою святость мученической борьбы за правое дело, но о котором все же один из самых пламенных, но и самых чутких и правдивых его вождей уже должен был с горечью признать, что «дело, начатое святыми, было закончено бандитами» (буквально так же, как русская революция)? И не то же ли самое произошло и с торжеством реставрации Бурбонов («белый террор!») или с торжеством «Священного союза», основатели которого действительно были полны чистой мечты освобождения человечества от ужасов революций и войн, умиротворения жизни на началах христианской любви и вместо этого заключили Европу в душную тюрьму и довели ее тем до катастрофы 48-го года? А католическая реакция 16—17-го века, Варфоломеева ночь, герцог Альба и — еще шире — злосчастная судьба католической теократии вообще — судьба мечты о христианской церкви как всемирной власти, насаждающей царство правды и любви? Нет, куда бы мы ни обратили взор, всюду одно и то же:

И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек

Из «Переложения «Екклесиаста» Н. М. Карамзина

и лилась эта кровь всегда во имя насаждения какой-то правды, и плакал человек, которого какие-то самоотверженные благодетели, во имя его собственного спасения, истязали и насиловали.

Если с этой точки зрения окинуть общим взором всю жизнь человечества, то приходится усмотреть парадоксальный, но воочию явственный факт (его очевидность еще усугубится для нас, если обратить внимание — о чем ниже — на тиранию идей, принципов и идеалов в частной жизни людей): все горе и зло, царящее на земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, страдания, по меньшей мере на 99 % суть результат воли к осуществлению добра, фанатической веры в какие-либо священные принципы, которые надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному истреблению зла; тогда как едва ли и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действием откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли.

Что же отсюда следует? — спросят нас. Проповедуете ли вы толстовское непротivление злу, отрицание государства, всякого принуждения или даже всякой политической действительности вообще? Прежде всего, по крайней мере на этой стадии наших размышлений, мы ничего вообще не проповедуем — мы просто повествуем об истории духовного опыта и связанных с ним разочарований. Нам нет поэтому надобности обсуждать здесь систематически сектантское учение толстовства. И лишь во избежание недоразумений мы должны указать, что духовный опыт, который мы пытаемся пересказать, ни в малой мере не тождествен с отвлеченной доктриной толстовства. Прежде всего уже потому, что толстовское отрицание государства и политики конкретно кульминирует тоже в определенном общественно-политическом идеале — именно идеале анархизма, который в нем также выступает как абсолютное добро, подлежащее немедленному осуществлению. Пусть здесь отвергается всякое принудительное осуществление идеала; но уже одно то, что мы имеем здесь дело с фанатической сектантской доктриной, для которой абсолютное добро воплощается в определенном порядке отношений, в определенном образе действий, — уже одно это заставляет нас на основании изложенного духовного опыта видеть в этом учении не освобождение от кумира, а воздвижение нового кумира, иное идолопоклонство, приводящее к тому же роковому результату разнуздания зла из желания сотворить добро. Да ведь мы имели на наших глазах живой конкретный пример, к чему ведет фанатическая доктрина отрицания государства и насилия: проповедь неперемennого и немедленного братания с неприятелем, отказа от военных действий, эта священная война, объявленная войне в 1917 году хотя и не толстовцами, но с явным использованием нравственных мотивов толстовства, привела не к всеобщему умиротворению, а к еще большему, неслыханному раздору и развалу жизни, когда во имя этой проповеди брат пошел на брата. Нет, кто действительно ощутил в своей душе гибель старых кумиров, тому не по пути ни с каким сектантством — в том числе и с толстовством.

По существу здесь надо сказать еще следующее. Крушение кумира «политики», веры в какой бы то ни было идеал общественного порядка, немедленное и полное осуществление которого уничтожало бы зло и водворяло бы на земле добро и правду, — это крушение совсем не тождественно с принципиальным отрицанием государства, принуждения, политической жизни и т. п. Скорее наоборот: всякое такое принципиальное отрицание, т. е., возведение отрицания в священный принцип, в ранг абсолютного добра есть, как уже было указано, то самое кумиротворчество, на которое мы более не способны. Если мы не можем уже сотворить себе кумира из государства и какой-либо программы государственной деятельности, то мы не можем идолопоклонствовать и перед идеалом анархии — быть может, самым опасным из всех кумиров. Если мы не верим, что можно облагодетельствовать человечество установлением определенного общественного порядка, обязаны ли мы верить, что его можно облагодетельствовать простым отрицанием всякого принудительного порядка? Если мы разочаровались во всех тех политических вождях и руководителях человечества, которые, обещая той или иной политической системой насадить абсолютное добро на земле, творили только зло, то следует ли отсюда, что мы должны отныне слепо поверить, будто любой отдельный человек, предоставленный самому себе и своему личному нравственному сознанию, легко и просто осуществит абсолютное добро, сумеет облагодетельствовать и себя самого, и всех других? Настроение, вырастающее из крушения в душе «политического кумира», на самом деле совсем иное. Оно совсем не тождественно толстовству: оно выражается точнее всего в противоположном толстовству завете:

«отдавайте кесарю кесарево, а Богу — Богово»

Государство, политическая власть, принуждение — все это есть роковая земная необходимость, без которой человек не может обойтись. Все это есть, с одной стороны, условие человеческой жизни, а, следовательно, — условие благой и осмысленной жизни, а с другой стороны — нечто с точки зрения последнего смысла лишь производное и потому второстепенное. Из условий человеческой жизни и из внутреннего существа человека вытекает необходимость такого-то вообще государства, некоторого правового порядка, некоторого принудительного подавления преступных действий, принудительной самозащиты от врагов; и среди этих строев, учреждений и порядков есть лучшие и худшие, более прочные и более шаткие, построенные более правильно или более ошибочно, в большем или меньшем соответствии с истинными нуждами жизни и с духовной природой человека или в противоречии им. Но все детали и частности здесь относительны, определены условиями времени и места, складом человеческой жизни, привычками и образом мысли людей. Поэтому ни в одном конкретном порядке нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла; все это — не последнее, не тот предмет веры, который осмысливает жизнь и дает ей подлинную правду, подлинное спасение. Кто задает это «последнее», у кого есть высшая цель жизни, кто владеет истинным благом, тот уже сумеет использовать все относительные средства жизни. И главное: лишь тот, кто умеет ясно отличать абсолютное от относительного, цель от средств и не рискует в этом смысле ошибиться, сможет действительно производить целесообразный отбор в мире относительного, оценивать разные средства и пути по их подлинной пригодности, и в меру надобности и в надлежащее время заботиться об их усовершенствовании. Крушение кумира «общественного идеала» не только не ведет к анархизму, но не требует и политического индифферентизма. Если только я знаю, для чего я вообще живу, на чем утверждено мое бытие и чему оно служит, если моя жизнь только согрета и оживотворена подлинной верой, дающей мне радость, бодрость и ясность, то я уже сумею построить свой дом, установить внешние условия и. порядок, необходимый и наиболее благоприятствующий внутреннему содержанию моей жизни. Этот порядок и условия жизни будут для меня непосредственно определяться высшей целью моей жизни, и я буду иметь твердое мерило для их расценки, буду знать, почему я люблю и признаю одно и отвергаю другое. Они вновь озарятся для меня светом живого смысла — но светом, отраженным от солнца высшей правды. Они будут для меня не идолами, которые требуют человеческих жертвоприношений и потом в миг разочарования с позором низвергаются, а осмысленными путями и орудиями моего служения Богу.

Но, прежде всего, я должен знать, для чего я вообще живу. И здесь я знаю пока лишь одно: я не могу жить ни для какого политического, социального, общественного порядка. Я не верю больше, что в нем можно найти абсолютное добро и абсолютную правду. Я вижу и знаю, наоборот, что все, кто искали этой правды на путях внешнего, государственного, политического, общественного устройства жизни, — все, кто верили в монархию или в республику, в социализм или в частную собственность, в государственную власть или в безвластие, в аристократию и в демократию как в абсолютное добро и абсолютный смысл, — все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду. Я должен, прежде всего, трезво и безболезненно подвести этот отрицательный итог.

Правда, в публичных выступлениях, в той словесной деятельности, которая есть единственный оставшийся нам, призрачный суррогат настоящей политической действительности, многие из нас по-прежнему — нет, гораздо более прежнего — самоуверенны и беспощадны. В поверхностном, более наружном и напоказ выставляемом слое духовной жизни — если не у всех, то у очень многих — еще царит бешеное, исступленное политическое кумиротворчество и кумиропоклонение. Люди расходятся друг с другом и начинают друг друга ненавидеть и презирать за различие мнений по вопросам социализма и демократии, монархии и республики, даже абсолютной или конституционной монархии;

они считают своим нравственно-гражданским долгом внушительно и ожесточенно — на страх врагам — демонстрировать свою политическую веру. Но искренняя и глубокая в этих доказательствах разве только ненависть: огромное большинство испуганно ненавидит большевизм и имеет для этого достаточно оснований; многие распространяют эту ненависть на всяческий социализм и на все, что его напоминает; многие идут еще дальше и столь же остро ненавидят республику, демократию — все, что прямо или косвенно, объективно-исторически или субъективно-психологически связано с идеей или практикой революции — вплоть до «новой орфографии»; некоторые, напротив, по старой памяти продолжают искренне ненавидеть монархию и «старый режим». Но у очень многих даже под этой ненавистью таится холодок скептицизма и равнодушия; не только более холодным и равнодушным, но очень многим и более глубоким и внутренне правдивым натурам опостылел даже фанатизм ненависти, ставший трафаретом: и предательская улыбка иронии над другими и самим собой часто, в интимном кругу, сопутствует мнимому страстному политическому прению. Что же касается политической любви и положительной политической веры, то страстность и болезненная напряженность публичных доказательств имеет у большинства едва ли не главной своей психологической причиной желание подавить в себе и других — иди скрыть от других и себя самого — равнодушие, маловерие, — в конечном счете, неотвратимый факт неверия. Сколько бы мы в газетах и публичных собраниях ни спорили и ни горячились, сколько бы мы ни раскалывались и ни основывали новых фракций — мы не верим больше; и не можем верить, как в абсолютную правду, ни в монархию, ни в республику и демократию, ни в социализм, ни в капитализм и частную собственность, если только мы захотим быть вполне искренними с самими собой. Если не все признаки нас обманывают, то, по крайней мере, молодежь в глубине души имеет едва ли не поголовно этот опыт. Кумир «политического идеала» разоблачен и повержен, и никакие трусливые рассуждения об опасности, и рискованности этого состояния не могут изменить этот бесповоротно совершившийся факт.

III. КУМИР КУЛЬТУРЫ

Кумир «революции» и кумир «политики вообще» рухнули в нашей душе преимущественно под впечатлением опыта русской революции. Но есть еще другой кумир, в каком-то смысле родственный им и с ними связанный, который тоже потерпел крушение или, по крайней мере, пошатнулся под влиянием, главным образом, иного опыта — опыта, так сказать, всеевропейского — под впечатлением мировой войны и послевоенного духовно-общественного состояния мира. Этот кумир мы назовём несколько неопределенным именем «кумира культуры». Прежде чем систематически анализировать, в чем он заключался, и обосновывать характер его крушения, постараемся и здесь непритязательно и правдиво воспроизвести наш непосредственный духовный опыт.

В довоенное время, в то столь недавнее и столь далекое уже от нас время, которое кажется теперь каким-то невозвратным золотым веком, все мы верили в «культуру» и в культурное развитие человечества. Нет надобности здесь давать логически точное определение этого, довольно туманного идеала: достаточно конкретно очертить духовную настроенность, выражавшуюся в вере в него. Нам казалось, что в мире царит «прогресс», постепенное и непрерывное нравственное и умственное совершенствование человечества, неразрывно связанное с таким же совершенствованием его материальной и правовой жизни. Мы восхищались культурой Европы и скорбели о культурной отсталости России. В Европе мы во всем усматривали признаки «культуры»: в обилии школ, во всеобщей грамотности, в том, что каждый рабочий и крестьянин читает газеты и интересуется политикой, в твердости конституционно-правового порядка, в уважении власти к правам граждан, в жизненном комфорте, в удобстве путей сообщения, в высоком уровне научных знаний, в широкой гласности и чувстве собственного достоинства, в трудолюбии и промышленном богатстве, в общей налаженности и упорядоченности жизни — и еще во многом другом, что было бы слишком долго пересказывать. Конечно, мы не закрывали глаз и на темные стороны европейской жизни — мы

замечали в ней и эгоизм, и мелочность, и мещанскую пошлость и ограниченность, и обилие «буржуазных предрассудков», и жестокость репрессий в отношении нарушителей буржуазного права и морали, и слепой и хищнический национализм. Но в большинстве случаев нам казалось, что эти темные стороны суть еще непреодоленные остатки прошлого, которые сами собой постепенно будут устранены дальнейшим развитием культуры; в этом смысле большинство русских и сочувствовало европейским социалистам, как самой передовой партии, которая борется с остатками «феодалных» нравов и стремится к устранению неправды и ограниченности буржуазного строя. Во всяком случае, основной фундамент культуры и мирной гражданственности казался незыблемо заложенным в Европе, и мы мечтали, что Россия скоро войдет, как равноправный член, в мирную, духовно и материально благоустроенную семью культурных народов Европы. Варварская эпоха смут, международных и гражданских войн, нищеты и бесправия казалась, во всяком случае, отошедшей в безвозвратное прошлое, окончательно преодоленной гуманитарным развитием нового времени. Поэтому, когда разразилась великая европейская война, она оказалась для большинства русских образованных людей совершенной неожиданностью, так что еще за несколько дней до ее начала, когда все ее симптомы были уже налицо, почти никто не верил в ее возможность. Когда она стала уже совершившимся фактом, она еще продолжала казаться каким-то великим недоразумением, какой-то несчастной случайностью, результатом преступной воли кучки милитаристически настроенных правителей Германии. Никто еще не мог поверить в длительность, жестокость и разрушительный характер этой войны; она казалась не естественным результатом и выражением духовно-общественного состояния Европы и не великим историческим событием, знаменующим новую эпоху, а случайным эпизодом, болезненным, но кратким перерывом нормального культурного развития. Когда война затянулась на годы и обнаружила и чудовищность своих опустошений, и жестокость своих средств, и отчаянное, смертельное упорство воюющих сторон, отношение к ней стало понемногу меняться; тогда каждой из воюющих сторон — в том числе и нам, русским, — стало казаться, что вернуться к нормальной культурной жизни можно, только уничтожив врага, окончательно устранив самый источник войны. Война была объявлена последней войной, направленной на прекращение всяких войн, на окончательное установление мирных и честных демократически-правовых начал и в отношениях между народами. Когда разразилась русская революция — столь желанная для большинства русских с точки зрения их идеала внутренней политики — и за ней последовало массовое дезертирство и самовольная ликвидация войны, большинство русских снова с патриотической горечью ощутило, что Россия еще не доросла до гражданской зрелости Европы, что она сама себя вычеркнула из состава европейских государств, борющихся за свое существование и свою культуру. Большевизм и анархия казались злосчастным уделом одной только отсталой России, все той же несчастной России, которая, в отличие от Европы, никак не может наладить своей жизни.

И тут неожиданно грянула германская революция, и многие сразу же, хотя и смутно, почувствовали, что — при всем различии и внешнего, и внутреннего политического положения России и Германии — их постигла какая-то общая судьба, что мировая война завершается какой-то мировой смутой. Потом последовал Версальский мир, показавший, что правда и справедливость в международных отношениях — пустые слова и что все зло войны, прекратившейся на полях битвы, закреплено на неопределенно долгое время мирным договором, что взаимная ненависть, озлобление, страх перед врагом, беспощадная эксплуатация слабых есть нормальное, естественное состояние европейской международной жизни; и то же обнаружилось в своекорыстном и лицемерном отношении бывших союзников к русскому несчастью. А затем стало очевидным, что в этой войне вообще нет победителей, что общечеловеческая бойня, истребившая миллионы людей и разорившая всех, кроме отдельных хищников и мародеров, кончилась безрезультатно, не искуплена ничьим счастьем и успехом. Все державы, хотя и не в одинаковой мере, истощены и ослаблены, все подавлены и внутренними раздорами, и неупорядоченностью внешних отношений; большинство победителей не знают, что начать <дел> с своей победой, и стараются — тщетно — сами загладить ее печальные

последствия; другие в ослеплении губят сами себя и становятся предметом общей ненависти своим желанием во что бы то ни стало добить побежденных. Во внутренней политике на очередь дня становятся злобно-бессмысленные политические убийства — по большей части честных людей, отдающих себе отчет в ужасе положения и старающихся найти выход из него. В частной хозяйственной жизни господствует всеобщий упадок трудолюбия и производительности труда, жажда легкой наживы, спекуляция на народном бедствии; пресловутая немецкая честность и деловитость, казалось, глубоко укорененные многовековым культурным развитием, сметены вихрем, точно внешние одеяния, не имеющие никакой собственной опоры в личности. И несчастная, растерзанная коммунистическими экспериментами, угнетаемая большевистским деспотизмом Россия оказывается не слабейшей и не беднейшей из европейских стран носители европейской культуры, проповедники права и свободы заигрывают с людьми, возглавляющими неслыханную в Европе систему, презрительно определенную, как «азиатский социализм», и идут на соглашение с ними ради материальных выгод или ради умиротворения своих собственных народных масс, в значительной мере симпатизирующих этому азиатскому социализму. Если русским коммунистам и не удалось перебросить в Европу зажженный ими «мировой пожар», то нельзя отрицать, что и Европа чахнет и тлеет и: не может затушить это подземное горение; и кто знает, не вспыхнет ли еще в том или ином ее месте этот подземный жар ярким пламенем анархии и гражданской войны?..

И среди этого всеобщего смятения и маразма, как мало признаков духовного осмысления жизни и стремления к подлинному духовному возрождению! Когда теперь мы, русские, материально и духовно обнищавшие, все потерявшие в жизни, ищем поучения и осмысления у вождей европейской мысли, у которых, большинство из нас привыкло раньше учиться, мы, заранее склонные, к смирению, всегда чуждые национального самомнения и менее всего способные на него в эту несчастную для нас эпоху, с изумлением узнаем, что собственно учиться нам не у кого и нечему и что даже, наученные более горьким опытом наших несчастий, испив до дна чашу страданий, мы, пожалуй, сами можем научить кое-чему полезному человечество. Мы по крайней мере уже тем опередили его, что у нас меньше осталось иллюзий и призрачных верований. Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что он — мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ничего не зная, не знают даже своей собственной духовной нищеты! Мы изобразили резкими, схематическими штрихами процесс падения веры в европейскую культуру, подчеркнув отдельные сильные толчки, исходившие от крупных внешних событий и один за другим расшатывавшие эту веру. В действительности, конечно, процесс этот гораздо сложнее; он совершался более постепенно и неприметно, будучи результатом накопления множества разнородных, и сильных, и бесконечно малых впечатлений. И эти. впечатления были только поводами для него; как все глубокие духовные и жизненные перемены, он осуществлялся спонтанно, шел. из каких-то невидимых глубин души и в точности психологически необъясним. Что-то умерло в нашей душе; былой жар, былые восторги испарились и мы с трудом вспоминаем о них; мы состарились и духовно охладели, и сами не знаем, как это случилось. Так старики, глядя на образ возлюбленной своей юности думают: «Как мог я так увлекаться и безумствовать? Как мог я не замечать пустоты, глупости, ординарности этого хорошенького личика? Как мог я считать божеством слабое, обычное человеческое существо, затрачивать на него всю свою душу?» Какая-то любовь, какой-то наивный пыл безвозвратно потухли в душе. Мы идем по красивым, удобным, благоустроенным улицам европейских столиц, которыми мы прежде восторгались, и не понимаем, что в них хорошего: ровная плоскость асфальта, однообразные высокие дома пошлой архитектуры; гудят и мчатся автомобили, развозя праздных жуиров, жадных спекулянтов или озабоченных, духовно пустых «деловых людей»; внутри домов—десятки и сотни одинаковых квартир мещанского уклада, в которых копошится разбитый на семейные ячейки людской муравейник, — чему тут радоваться? Тоска, тоска беспросветная! Мы видим кучера или шофера, читающего газету на своем сиденье, — в какой восторг перед его просвещенностью и политической сознательностью мы приходили раньше при этом зрелище! Теперь мы равнодушно проходим мимо, а

если живем в Германии, то злобно думаем: «наверно, тоже играет на бирже» и уверены, что теперь мы оцениваем это явление правильнее, чем прежде. Где трепет, с которым мы когда-то всходили на галереи европейских парламентов и прислушивались к страстным, вдохновенным речам политических ораторов? Едва ли мы читаем внимательно эти речи и в газетах, а если и пробежим глазами, то с равнодушием и скукой; мы заранее знаем их содержание: либо безответственная демагогия, либо официально-лицемерное провозглашение каких-либо священных принципов, в которые никто не верит и которые никогда не осуществляются, оправдание какого-нибудь зла под тем или иным высоким предлогом, либо, наконец, сознание своего бессилия и безвыходности положения; от всей текущей политики на нас уже заранее веет или человеческой глупостью, или человеческой подлостью, или тем и другим вместе — и, во всяком случае, — пошлостью, унынием, безнадежностью серых будней. Где благородные, бесстрашные, горящие верой в добро и человечность вожди передовой демократии и социализма, избличители зла, апостолы социальной правды, защитники угнетенных — или они только казались нам такими? Если такие и были когда-то, то они или умерли, или выродились. Когда европейские коммунисты громят теперь в своих речах и статьях лицемерие и неправду буржуазного общества, то, по крайней мере, нас, русских, они уже теперь не проведут: сколько бы объективной правды ни было в их словах, мы-то знаем, к чему они клонят и каков их подлинный умысел; в этих мнимых апостолах правды и добра, мы с полной, абсолютной ясностью видим бесстыдных или в лучшем случае соблазненных слуг сатаны, духа насилий и убийств, лжи и нравственного разложения, дикого произвола и животной тупости. А умеренные социалисты или вожди демократии — все эти Клемансо, Ллойд-Джорджи, Вандервельде, Вивиани, Шейдеманы и как их всех зовут — и правительствующие, и оппозиционные? У них ничего не осталось, кроме пустых лозунгов, в которые никто не верит, в том числе и они сами. Если они стоят у власти, то они прикрывают шумом громких слов какие-нибудь злые или глупые дела, или в лучшем случае свою бездейственность и свое бессилие; если они — в оппозиции, то в ней нет ничего принципиального, ясного, идейного. И все они только убаюкивают народные массы теми самыми — ныне пустыми и лицемерными — словами, которыми они когда-то старались разжечь политические страсти, боясь признать, что в этих словах нет уже больше никакого осмысленного содержания и вдохновляющей идеи. Лучшее, что они способны сделать, — это удерживать европейское общество в его состоянии неустойчивого равновесия и не дать ему совсем опрокинуться, применять паллиативные средства, чтобы духовное и общественное разложение не шло слишком быстро и чтобы тление не превратилось в пожар. Социалистическая вера духовно умерла, частью разоблаченная неслыханным злом коммунизма, частью обессиленная и потонувшая в болоте буржуазной обыденщины и пошлости. А демократические идеалы? Может быть, их еще можно или даже нужно признавать отвлеченно, может быть, политическая мысль и не додумалась ни до чего лучшего, но верить в них и поклоняться им уже больше невозможно. Просвещенная демократическая Европа, после веков культурного развития дошедшая до безумной всеевропейской бойни, священные принципы Вильсоновских «пунктов» — и Версальский мир, ими оправданный, всеобщее избирательное право — и глупость, бездарность и бессилие парламентов и правительств, из них исходящих, и многие другие аналогичные контрасты — все это испытания, которых не выдерживает живая вера. Не радует нас больше и прогресс науки и связанное с ним развитие техники. Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором человечество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, куда и зачем лететь, если на всем свете царит та же скука, безысходная духовная слабость и бессодержательность? А когда подумаешь, что единственным реальным результатом этого развития воздушных сообщений является возможность превратить войну в быстрое и беспощадное убийство населения целых стран, в кошмарно-апокалиптическое истребление европейского человечества огнем с неба, то трудно духовно увлечься его успехами и разве только в припадке безумного отчаяния можно злорадно усмехнуться сатанинской мечте о самоуничтожении гибнущей, Европы. Общее развитие промышленной техники, накопление богатства, усовершенствование внешних условий, жизни — все это вещи неплохие и, конечно, нужные, но нет ли во всем этом какой-то безнадежности работы над

сизифовым камнем, раз неудержимое влечение к промышленно-торговому развитию привело через войну к всеобщему разорению и обнищанию? Возможна ли сейчас еще та юная, наивная вера, с которою работали над накоплением богатства и развитием производства целые поколения людей, видевшие в этом средство к достижению какой-то радостной, последней цели? И нужно ли, в самом деле, для человеческого счастья это безграничное накопление, это превращение человека в раба вещей, машин, телефонов и всяческих иных мертвых средств его собственной деятельности? У нас нет ответа на эти вопросы; но у нас есть сомнения и недоверие, которых мы прежде не знали.

А духовные ценности европейской культуры, чистые и самодовлеющие блага искусства, науки и нравственной жизни? Но и на все это мы невольно смотрим теперь иным, скептическим взором. О нравственной жизни мы не будем здесь говорить — это особая, и особенно тяжкая, тема, о ней речь впереди. Здесь достаточно сказать, что мы как-то за это время утратили веру именно в самое наличие нравственной жизни, нравственных устоев культурного человечества; все это именно и оказалось неизмеримо более шатким, двусмысленным, призрачным, чем оно казалось ранее. В искусстве самое великое мы видим, в прошлом, современность же — не будем произносить, никаких приговоров о ней, претендующих на объективность и обоснованность, — но в ней нет художественного, движения, способного захватить и окрылить нас, скрасить, тоску нашей будничной жизни и давать нам радостные слезы умиления перед истинной вечной красотой. А вместе с тем после пережитых испытаний произошел какой-то душевный сдвиг, в силу которого для нас, потускнело многое из прошлого. Всякая лирика и романтика в живописи, поэзии и музыке, всякая субъективная утонченность, экзальтированность, изысканность и идеалистическая туманность, в которых еще так недавно мы находили утеху, не только не радует, но раздражает нас и претит нам: мы ищем — и не находим — чего-то простого, существенного, бесспорного и в искусстве, какого-то хлеба насущного, по которому мы духовно изголодались. А наука? Но и наука перестала для нас быть кумиром. Толстые ученые книги, плоды изумительного прилежания и безграничной осведомленности, всякие научные школы и методы не внушают нам прежнего почтения и как-то не нужны нам теперь. Яснее прежнего мы видим, сколько ограниченности, бездарности, рутинерства, словесных понятий, лишенных реального содержания, скрыто в этом накопленном запасе книжного знания и как мало, в конце концов, в большинстве «научных» произведений свежей мысли, ясных и глубоких прозрений. И иногда кажется, что вся так называемая «наука», к которой мы также раньше относились с благоговением неофитов и ученическим рвением, есть только искусственный способ дрессировки бездарностей, что настоящие умные и живые мыслители всегда выходят за пределы «научности», дают нам духовную пищу именно потому, что ничего не изучают и никак не рассуждают, а видят что-то новое и важное, и что этому не может научить никакая наука, — или же, что в этом и состоит единственная подлинная наука, которой еще так мало в том, что слывет под именем науки.

Все эти мысли и оценки суть не разработанные, обоснованные теории и объективные приговоры о состоянии современной европейской жизни. Кто из нас может быть беспристрастным судьей этого смутного времени, которое само перестало понимать себя? Те, кто накопившееся в душе раздражение против, всего зла современном европейской жизни или презрение к ее убожеству и смутности, а также естественно нарастающее в душе изгнанников мучительно-острое чувство любви к несчастной родине и веру в ее будущее превращают в стройную и систематическую Теорию гибели европейской культуры и рождения новой, русской, «евразийской» культуры, — не могут рассчитывать на общее признание, на исцеление нас новой, вдохновляющей и убедительной верой. Мы склонны видеть в этой теории не объективного судью нашего безвременья, а скорее его болезненный результат; душа наша не может жить той узостью, тем обилием ненависти и презрения, тем горделивым осуждением чужого и превознесением себя самих, которыми веет от этой теории и в которых она видит исход из кризиса. Нет, наши мысли и оценки мы выдаем лишь за то, что они есть на самом деле, — за выражение наших непосредственных чувств, за реальный факт нашей духовной жизни. Но в качестве такого факта — это мы знаем и утверждаем с полной достоверностью — они — не случайность, определены не поверхностным настроением, не индивидуальным капризом; они глубоко укоренены в нашей душе, в

душе преобладающего большинства мыслящих русских людей, отложившись в ней в результате какого-то огромного, стихийного, неотменимого и непоправимого геологического переворота духа. Если мы попытаемся теперь систематизировать эти впечатления и оценки и хоть до некоторой степени подвести им объективный, обоснованный итог, то мы можем выразить его, как мне кажется, в двух основных положениях. Во-первых, мы потеряли веру в «прогресс» и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным. Человечество вообще, и европейское человечество в частности, — вовсе не беспрерывно совершенствуется, не идёт неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без предуказанного пути, подымаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и каждая эпоха живет какой-то верой, ложностью или односторонностью которой потом изобличается. И, в частности, тот переход от «средневековья» к нашему времени, то «новое» время, которое тянется уже несколько веков и которое раньше представлялось в особой мере бесспорным совершенствованием человечества, освобождением его от интеллектуальной, моральной и общедуховной тьмы и узости прошлого, расширением внешнего и внутреннего кругозора его жизни, увеличением его могущества, освобождением личности, накоплением не только материальных, но и духовных богатств и ценностей, повышением нравственного уровня его жизни, — это «новое время» изобличено теперь в нашем сознании как эпоха, которая через ряд внешних блестящих успехов завела человечество в какой-то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение и ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло на наших глазах к состоянию нового варварства.

«Прогресса» не существует. Нет такого заранее предуказанного пути, по которому бы шло человечество и который достаточно было бы объективно констатировать, научно познать, чтобы тем уже найти цель и смысл своей собственной жизни. Чтобы знать, для чего жить и куда идти, каждому нужно в какой-то совсем иной инстанции, в глубине своего собственного духа найти себе абсолютную опору; нужно искать вех своего пути не на земле, где плывешь в безграничном океане, по которому бессмысленно движутся волны и сталкиваются разные течения, — нужно искать, на свой страх и ответственность, путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к ней независимо от всяких течений и, может быть, вопреки им.

Это — первое. И с этим тесно связан и второй объективный итог нашего духовного развития, который есть лишь другая сторона первого. Старое, логически смутное, но психологически целостное и единое понятие «культуры» как общего комплекса достижений человечества, то, как будто стройное, согласованное и неразрывное целое, в состав которого входили и наука, и искусство, и нравственная жизнь, умственное образование и жизненное воспитание, творчество гениев и средний духовный уровень народных масс, правовые отношения и государственный порядок, хозяйство и техника, — это мнимое целое разложилось на наших глазах, и нам уяснилась его сложность, противоречивость и несогласованность. Мы поняли, что нельзя говорить о какой-то единой культуре и преклоняться перед нею, разумея под ней одинаково и творчество Данте и Шекспира, и количество потребляемого мыла или распространенность крахмальных воротничков, подвиги человеколюбия и усовершенствование орудий человекоубийства, силу творческой мысли и удобное устройство ватерклозетов, внутреннюю духовную мощь человечества и мощь его динамо-машин и радиостанций. Мысли, когда-то намеченные нашими славянофилами и ныне повторенные Шпенглером, о различии между «культурой» и «цивилизацией», между духовным творчеством и накоплением внешнего могущества и мертвых орудий и средств внешнего устройства жизни отвечают какой-то основной правде, ныне нами усмотренной, как бы сложно и спорно ни было теоретическое выражение этих мыслей. Так же ясно усмотрели мы различие и даже противоположность между глубиной и интенсивностью самой духовной жизни, с одной стороны, и экстенсивной распространенностью ее внешних результатов и плодов — с другой, между истинной просвещенностью и блеском внешней образованности, между внутренними нравственными основами жизни и официально возвещаемыми лозунгами или внешне нормированными правовыми и политическими отношениями, между культурой духа и культурой тела.

Мы замечаем часто ослабление духовной активности при господстве лихорадочно-интенсивной хозяйственной, технической, политической деятельности, внутреннюю пустоту и нищету среди царства материального богатства и обилия внешних интересов, отсутствие подлинной осмысленности жизни при строгой рациональности ее внешнего устройства и высоком уровне умственного развития. Мы видим духовное варварство народов утонченной умственной культуры, черствую жестокость при господстве гуманитарных принципов, душевную грязь и порочность при внешней чистоте и благопристойности, внутреннее бессилие внешнего могущества. От туманного, расплывающегося на части, противоречивого и призрачного понятия культуры мы возвращаемся к более коренному, простому понятию жизни и ее вечных духовных нужд и потребностей. «Культура» есть производное отложение, осадок духовной жизни человечества; и смотря по тому, чего мы ищем, и что мы ценим в этой жизни, те или иные плоды или достижения жизни мы будем называть культурными ценностями. Но и здесь, следовательно, у нас нет более осязаемого, внешне данного и бросающегося в глаза, общеобязательного критерия уровня жизни. Жизнь есть противоборство разнородных начал, и мы должны знать, что в ней хорошо и что — дурно, что — ценно и что — ничтожно. Если мы найдем истинное добро, истинную задачу и смысл жизни и научимся их осуществлять, мы тем самым будем соучаствовать в творчестве истинной культуры. Но никоим образом мы не можем формировать наш идеал, нашу веру, озираясь на то, что уже признано в качестве культуры, и приспособляясь к нему. В этом смысле и вера в «культуру» умерла в нашей душе, и все старые, прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к ее составу, подлежат еще по меньшей мере пересмотру и проверке. Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе так же, как обаяние кумира революции и кумира политики. Во всей извне окружающей нас общественной и человеческой жизни мы не находим больше спорных точек, не находим твердой почвы, на которую мы можем с доверием опереться. Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или среди тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колыхание стихий, грозящих утопить нас, от твердого берега, на котором мы могли бы найти приют. Мы должны искать мужества и веры в себе самих.

IV. КУМИР «ИДЕИ» И «НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛИЗМА»

Описанные выше разочарования были преимущественно результатом общественного опыта, катастрофических событий последнего десятилетия; и они выражаются в крушении общественных верований в кумиров «революции», «политики», «культуры и прогресса». Но когда мы глубже всматриваемся в самих себя, то мы с удивлением убеждаемся, что общий итог этого крушения совпадает с итогом какого-то внутренне-морального, личного духовного переворота, совершившегося в человеческой душе за последнее время, подготовлявшегося уже давно и совершенно независимо от каких-либо общественных событий. И вместе с тем мы замечаем, что все, в чем мы признались, еще лишь поверхностно, далеко не полно и недостаточно глубоко выражает всю значительность и радикальность происшедшей в нас духовной катастрофы. Эту катастрофу мы можем обозначить как крушение кумира «идеи» или «нравственного идеализма»; это есть основной перелом в общем моральном устроении, — перелом, в отношении которого все предыдущее было как бы только некоторой прелюдией, вступительным описанием его внешних поводов и симптомов. Современный человек, лишенный религиозной веры, жил доселе ее суррогатом в лице того, что он называл «идеями» или «принципами». «Идея» была либо представлением какой-либо внешней и отдаленной цели, какой-то подлежащей осуществлению задачи, которой человек посвящал всю свою жизнь, либо нравственными нормами и правилами, которым человек подчинял свою жизнь. У кого были такие «идеи», тех мы называли людьми «идейными», «принципиальными»; мы почитали их и старались сами стать такими же. Противоположный сорт людей назывался людьми «безыдейными» и «беспринципными»; это были современные, светские грешники и падшие. Человек оценивался не столько по его непосредственной доброкачественности, талантливости, доброте и благожелательству, сколько по идейной убежденности и преданности своей «идее».

Основная мысль этого морального умонастроения заключалась в том, что человек тогда живет нормально и осмысленно, когда он служит, приносит всю свою жизнь в жертву какому-то определенному, отвлеченно постигнутому и выраженному началу. Тогда это начало есть добро и смысл человеческой жизни. Как указано, либо человек должен служить осуществлению какой-либо объективной задачи: он должен «посвятить себя» государству, воплощению определенного политического идеала, развитию народного образования, поднятию материального уровня народной жизни или какому-либо иному «идеалу»; либо же — и это есть обязательный для всех минимум требования — он должен во имя общего блага или непосредственной святости некоторых принципов ограничить свою свободу неукоснительным соблюдением определенных норм поведения, нравственных правил, регулирующих его отношение к людям. Под «идеями», «принципами» или, еще иначе, «нравственными идеалами» разумелись одинаково и вера в определенные, подлежащие постепенному осуществлению будущие состояния человеческой жизни, и вера в определенные порядки и правила, имеющие абсолютное значение и требующие постоянного соблюдения. В большинстве случаев человек должен был брать на себя бремя двойного служения: он должен был отдавать свои силы, свое внимание и интересы осуществлению своего «идеала» общественного, государственного, культурного и т. п. порядка, и он должен был строжайше подчинять себя дисциплине установленного, вечно действующего нравственного устава жизни.

При всей разнородности этих двух смыслов понятия «идеала», «идеи» или «принципа», морально-психологическое действие их на человеческую душу было одно и то же, и нам нет поэтому надобности рассматривать их в отдельности. Выше, в предыдущих размышлениях, мы отметили крушение ряда отдельных «идеалов» в первом смысле слова; общий итог этих размышлений легко наводит нас на мысль, что после всех происшедших потрясений общественной жизни и общественных верований вряд ли мы еще фактически в состоянии теперь неколебимо уверовать в какой-либо «идеал» в этом смысле. Но совершенно независимо от этого фактического нашего бессилия и, однако, как бы обосновывая и тем усугубляя его, в нашей душе нарастает принципиальное неверие — и притом как во всякие вообще «идеалы», в смысле объективных целей, которые мы обязаны осуществлять, так и в нравственные идеалы, в смысле норм и правил поведения, которым мы должны беспрекословно подчиняться, как неприкосновенным святыням. Это не значит, что душа жаждет безграничного разгула, разнузданности, произвола, безмерной и бесформенной свободы: если такие вождения и шевелятся иногда в ней, то это — только преходящие душевные состояния, ненормальность и неудовлетворительность которых мы хорошо сознаем. Напротив, в господствующем нашем духовном настроении преобладает с почти болезненной силой жажда чему-то отдать свою жизнь и через это самоотречение осмыслить ее и найти последнюю прочность и спокойствие. И, тем не менее, мы не можем отдать ее никакому «идеалу», никаким «принципам». Эта форма обоснования и упорядочения нравственной жизни нас больше не удовлетворяет. Мы ощущаем в ней не свободное жертвенное служение живому Богу, а бессмысленные, изуверские человеческие жертвоприношения идолам, в которых мы не верим, мертвость и призрачность которых мы ясно ощущаем. Мы вынуждены признаться в крушении главного, основного кумира современного человечества, кумира «нравственного идеализма», безрелигиозной морали долга, и отдать себе отчет в смысле и основаниях этого крушения. Как и почему оно совершилось — это трудно объяснить, да в этом нет и надобности. Нужно только ясно осознать, в чем оно собственно заключается и до какого духовного состояния мы дошли в его результате.

Общий смысл его состоит в том, что мы уже не верим в «добро» как отвлеченное, самодовлеющее начало, несущее свою святость и свое верховное владычество над душами в самом себе и выразимое в ряде отдельных норм или требований, обязательных для человека. Выражаясь традиционным философским термином, мы не верим в «моральный категорический императив». Это неверие можно обосновать с разных сторон.

Первое, что мы ощущаем как нечто ненормальное во всех отвлеченных нравственных идеалах и нормах, есть та холодная и беспощадная принудительность, с которою они властвуют над нашей

душой. Я обязан их исполнить, я не вправе отступать от них, хочу я того или не хочу и чего бы мне ни стоило их выполнение. Правда, со времени Канта нам указывают на абсолютный, т. е. бесспорный характер этих норм и на их внутреннее, т. е. свободное признание личностью, в отличие от норм юридических, законов государства, которые властвуют над нами извне и силою внешнего давления, а не внутренней своей авторитетностью. Но уже Кант должен был признать, что собственно свободно, актом личного признания, подлинно «автономно» эти нормы приемлет и ставит над собой лишь высшее начало человеческой личности, «трансцендентальное я», тогда как эмпирический человек обязан просто и беспрекословно им повиноваться. А если мы от этой отвлеченной теории перейдем к непосредственной практике, к живому душевному и духовному опыту человека, то мы ясно сознаем, что это притязание на абсолютную, непререкаемую бесспорность и на внутреннюю, а не только внешнюю авторитетность, — притязание, с которым действительно выступают нравственные требования, не смягчает, а, напротив, усугубляет их власть, беспощадность, тиранию их господства над нашей душой. Ибо в действительности никто из нас, живых мятущихся людей, одержимых и добрыми, и злыми страстями, раздираемых и разнородными порывами, и сложными сомнениями, не владеет тем строгим, чистым, неподкупным и незыблемым, безгрешным и безошибочным высшим разумом, который, согласно теории Канта и ходячим моральным учениям, должен свободно и с полной внутренней убедительностью ставить над нами этот незыблемый нравственный закон. С точки зрения живого психологического опыта это высшее и строго-разумное я есть просто выдумка, которой не соответствует никакая действительность. И хотя бы не только в отвлеченной философской теории, но и в практике нравственной жизни люди привыкли симулировать это наличие внутри их безошибочно судящего нравственного разума и поэтому требуют и от нас беспрекословного признания его авторитета — здесь, где мы решили правдиво описать и осмыслить наш духовный опыт, мы должны, как мальчик в андерсеновской сказке, открыто сказать, что «король гол» и что мы лишены удовольствия знать это «чистое трансцендентальное я» и потому и не можем свободно поклоняться ему и его предписаниям.

Что же это значит? Отрицаем ли мы наличие совести у человека, силу и влияние ее указаний в человеческой жизни? В нашу задачу — в задачу непредвзятого описания духовной реальности — не может входить никакое доктринерское отрицание реальных фактов; Совесть, эта «змея сердечных угрызений», внутренний стыд перед самим собою, от которого иногда сгорает человек, презрение к самому себе, мучительная тоска по просветлению и самоочищению, безнадежная жажда исправить непоправимое, стереть из прошлого сделанный грех — все это факты, и факты слишком значительные, чтобы их можно было отрицать или не замечать. Но здесь, не вдаваясь в более глубокое рассмотрение этих фактов, мы отмечаем лишь существенное отличие этих интимных, глубоко личных, потаенных моральных кризисов от того как бы официального, общеобязательного, основанного на строгих, неизменных, общепризнанных нормах морали суда «нравственного разума», который угнетает нашу духовную жизнь и подлинная осмысленность и авторитетность которого нам сомнительна. Если под «совестью» — как это обычно бывает — разуметь наше внутреннее подчинение этому суду и этой власти, то недалеко от правды будет Шопенгауэр, сказавший где-то, что то, что называют голосом совести, на 9/10 есть просто страх общественного порицания, рабская трусость перед мнением других.

И действительно, там, где над нами властвуют эти отвлеченные, общеобязательные, холодно-разумные нравственные «идеалы» и «принципы», мы ощущаем себя данниками, пленниками, подъяремными рабами. Поскольку мы еще не свыклись до конца с этим рабским состоянием, поскольку мы еще сохранили — по крайней мере наедине с собой — свободную правдивость духа, в нас невольно накапливается протест против этих оков. Нарождается недопустимый, еретический и глупый для большинства, людей, но неотвязный детски-наивный вопрос: почему вообще я обязан что-либо делать, к чему у меня нет влечения? Почему вообще я, живущий в мире один только раз, полный ненасытимой жажды жизни и самообнаружения, должен жертвовать собой чему-то или кому-то, ограничивать и стеснять себя? Почему я: должен быть добрым, должен любить людей, если я их

ненавижу» почему и во имя чего я должен ломать и переделывать самого себя, быть не тем, что я есть на самом деле? И, наконец, если бы я даже пытался в угоду так называемых нравственных идеалов ломать себя, то я бы в действительности не сумел этого сделать: я не могу быть добродетельным и строго принципиальным человеком, если я на самом деле рожден грешным, страстным, раздираемым противоречивыми желаниями, мятущимся существом; я могу разве только казаться добродетельным. Так неужели же в этом — задача морали? Или, может быть, так дело и обстоит, и все люди хотят только казаться добродетельными и поглубже прятать от суда морали свою подлинную живую природу, свое внутреннее необузданно-свободное существо?

И невольно вспоминаются дерзновенные протесты, новые и старые, против ига морали. Вспоминается Штирнер с его анархическим культом самодержавного я, вспоминается глумление Ницше над «моралью рабов» и его аристократический идеал внутренне благородной, духовно свободной личности, которая знает свою высшую ценность и имеет право на все, не признавая над собою ничьего суда и закона. Вспоминается еще древнее, приводимое Платоном, рассуждение свободомыслящего грека (Калликла в диалоге «Горгий»), что человек рождается с львиной природой, но попадает в руки воспитателей, которые из корыстной и трусливой потребности своего самосохранения прививают ему идеи и чувства овцы, кротость, покорность и миролюбие; но когда такой дрессированный левенок подрастет, он рано или поздно разорвет связывающие его путы и явится во всем своем грозном природном величии, во всей силе своей первобытной свободы; или аналогичное, тоже сохраненное Платоном, рассуждение (ритора Тразимаха в 1-ой книге «Государства»), что мораль, идея служения ближним есть сказка старых нянек, с помощью которых умные властители усыпляют и одурачивают ребячливых людей, чтобы, тем свободнее властвовать над ними в своих интересах. Пусть такой аморализм не во всем прав, пусть он увлекает нас на опасные и гибельные пути, пусть он искусственно упрощает сложность человеческой природы и слишком грубо отождествляет драгоценный духовный дар человеческой свободы с простой звериной разнузданностью, с одним лишь безмерным простором страстей и вожделений; все же, перед лицом холодной, тиранической и внутренне непонятной нам морали долга он содержит для нас какую-то неизъяснимую, соблазняющую правду, какой-то прельщающий нас призыв к духовной свободе.

Возьмем для примера одну сторону жизни, которую, именно ввиду полного несоответствия неукротимой и таинственно-своевольной ее природы официальной морали долга, принято стыдливо замалчивать. Я разумею половую жизнь, во всей глубине, силе и во всем причудливом многообразии ее проявлений. Половая жизнь доставляет всем нам, и особенно в молодом возрасте, не одни лишь радости, но и великие муки и волнения. Но все мы тщательно скрываем эти муки даже от самых близких людей, все мы перед лицом официальной морали симулируем полную нашу благопристойность, уравновешенность и спокойное, всецело подчиненное нормам морали отношение к этому вопросу. Лишь одни врачи и психопатологи, из наиболее чутких, знают, какие бури разыгрываются в человеческой душе в этой области и сколько мук, физических и душевных болезней, разбитых и искалеченных Жизней причиняют эти глубоко затаенные стихийные бури. И в этой трагической области, которая требует в отношении себя величайшей внимательности, чуткости, осторожности и индивидуализации, где мы так страстно жаждем совета, утешения, подлинной помощи, где нам нужны опытные руководители, чуткие друзья, деликатные, понимающие нашу муку и наш стыд педагоги и разумные врачи, — мы наталкиваемся на непробиваемые стены официальной, беспощадно-строгой, одинаковой для всех морали, мы стоим перед лицом суровых, тупых и к тому же лицемерных судей — ибо сами судьи не лучше судимых и лишь мстят своим судом за свои собственные скрытые мучения. Начиная с болезней и странных извращений, которые не только губят наше здоровье, но разъедают нашу душу муками потаенного стыда и самопрезрения, и кончая вихрем страсти, овладевающим нами, как безумие, заставляющим нас забыть обо всем остальном и очертя голову броситься в пропасть, рискуя погубить и себя, и других, — нигде, в роковые минуты, когда назревают решения, от которых часто зависит вся наша жизнь, не встречаем мы помощи, совета, даже простого слова внимания и ободрения; все мы должны таить в себе, мы ощущаем себя преступниками,

уже заранее осужденными судом морали, и знаем: если что-либо из этих тайных драм вскроется, мы будем опозорены, и моральное общественное мнение лишь постарается довести нас до полной гибели, до самоубийства, как оно довело до этого даже иных гениальных людей. Как будто недостаточно здесь внутреннего трагизма, имманентных, роковым образом присущих этой области страданий и терзаний, наносящих нам глубокие сердечные раны, — все точно молчаливо сговорилось своим холодным равнодушием или суровым осуждением еще раздирать эти раны. А между тем про себя, втайне, мы хорошо сознаем, что не все в этой области заслуживает отвержения, преодоления, презрения. Не только мы по слабости часто не в силах, при всем разумном нашем желании, побороть эту неукротимо-мощную животную природу нас самих и жаждем, чтобы поняли и простили нам это бессилие; но часто также — и в этом состоит главный трагизм — мы ощущаем исконную слитность этой слепой страсти с высшим и глубочайшим началом нашей личности, мы сами не знаем — как отметил это уже глубочайший из психологов, Достоевский, — где кончается в нашей душе священный культ Мадонны и где начинается Содом; и сам Содом влечет нас не внешними чувственными утехами, а непреодолимым соблазном мистической красоты, силы и всезахватывающего упоения. Как это ни дико звучит для суровых моралистов, которых длительное лицемерие уже приучило к совершенной духовной слепоте, — в бешеном, самозабвенном разгуле страстей, к которому нас манит заунывно-залихватская цыганская песня, нам мерещится часто разрешение последней, глубочайшей нашей тоски, какое-то предельное самоосуществление и удовлетворение, по которому томится уже не одно лишь тело, а сам дух наш. И уже с полной субъективной очевидностью внутренней правоты и потому внутреннего права на свободу мы часто сознаем великую и чистую, несмотря на всю страстность ее и связанность с физическим влечением, любовь к женщине, вне которой в эти мгновения наша жизнь теряет весь свой смысл, и которую мы тогда ощущаем как глубочайшую основу нашего собственного я — как бы эта страсть ни противоречила всем общепризнанным и общеобязательным нормам морали.

Можно ли вообще в этой области быть «разумным», «принципиальным» человеком, «идейно» нормировать чью-то жизнь? Как бы туманна, опасна ни была эта; сфера, сколько бы зла ни таилось в ней, сколько бы коварных миражей ни влекло в ней к гибели — но никто, положив руку на сердце, не может признать в ней незыблемую внутреннюю авторитетность для себя нравственного разума, непреклонных, общеобязательных принципов морали, которые извне, без внимания к своеобразию личности, одинаковым для всех образом нормируют эту жизнь. Пусть все мы — грешники; но по крайней мере в этой области мы не можем не быть грешниками; и если где-либо, то именно здесь мы ждем не суда, а спасения, — или такого суда, который действительно очищал бы нас и тем давал спасение. Вместо этого мы встречаем жестоких, холодных идолов морали долга, которым приносятся бесчисленные человеческие жертвоприношения. Поистине, прав мудрый поэт:

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Tier,
Aber Menschenopfer umerhört

Строки из баллады Гете «Коринфская невеста».

Возьмем теперь совсем иную область этой морали долга — мораль общественного служения. Ярче всего она выражалась в нашем русском прошлом в моральном культе революционного героизма. Мы поминали о нем в размышлении о «кумуре революции»; мы напомнили там, что этот кумир, разоблаченный ныне как пожирающий жизнь молох, имел своих вдохновенных служителей, своих подвижников и добровольных героев. Но теперь мы хотели бы обратить внимание на другую, обратную сторону дела: на каждого добровольного героя и подвижника этот кумир революционного служения — как и всякий иной кумир — имел десятки, если не сотни недобровольных жертв, гонимых на служение и гибель бичом морально-общественного мнения. Вместо общих рассуждений я хотел бы

здесь привести один конкретно-индивидуальный пример из личных воспоминаний.

Как уже указано, лет 25 тому назад в определенных кругах русской молодежи безраздельно царил универсальный, всепоглощающий культ революционного служения. Предполагалось, что студенческая молодежь без остатка делится на две группы: либо беспринципные карьеристы и кутилы-«белоподкладочники», либо же «идейные» люди, посвятившие себя прогрессу и спасению народа, т. е. революционные герои. Правда, большинство этих героев, не занималось ничем, кроме бесконечных словопрений, рассуждений о «теории прибавочной стоимости» Маркса, и о судьбе крестьянской общины, и, разве только еще чтением нелегальной политической литературы, лишь немногие избранники были посвящены в настоящую политическую конспирацию. Но и первые всегда рисковали быть изгнанными из университета, сосланными если не в Сибирь, то в глухую провинцию или попасть в тюрьму, и потому, считали, себя деятелями и борцами-героями. В одном таком невинно-«революционном» студенческом кружке в Москве участвовал один тихий, хорошо воспитанный, застенчивый юноша из семьи обрусевших немецких дворян. Когда кружок был арестован и, всем было ясно, что участникам его не грозит ничего страшного, что дело кончится разве только исключением из университета и высылкой из Москвы, юноша этот, неожиданно для всех, покончил с собой в тюрьме, и притом каким дико-жестоким способом, который свидетельствовал о предельном душевном отчаянии: сначала наглотался осколков стекла, а потом, облив свою кровать керосином, поджег себя и скончался после страшных мучений. Перед смертью он признался, что его мучила его неспособность стать настоящим революционером, внутреннее отвращение к этому занятию, непреодолимое желание обычной мирной жизни; он сам признал себя существом ни к чему не годным и пришел к решению покончить с собой. Конечно, мы, его товарищи, совершенно не поняли тогда всего трагизма этого признания. Его смерть нас потрясла, но вину в ней мы возлагали на «деспотизм» ненавистного режима; из его похорон мы, как полагается, устроили антиправительственную демонстрацию и успокоились в сознании нашей собственной революционной добродетельности. Но когда теперь, после всего пережитого и происшедшего, я вспоминаю этот случай, я чувствую на себе кровь этой невинной жертвы; я чувствую себя моральным соучастником всех убийств и злодеяний, которые во имя революции творятся в чрезвычайках. Ибо ведь это мы сами, идейные служители долга, своим моральным принуждением к революционному образу мыслей и революционному героизму приговорили к смерти эту ни в чём не повинную юную человеческую душу; мы, хотя и не замечая того, тиранически насильовали ее своим беспощадным требованием от нее революционного служения, которому она была не склонна.

А сколько жертв вообще было принесено на алтарь революционного или «прогрессивного» общественного мнения! Сколько талантов погибало или, по крайней мере, подвергалось жесточайшим преследованиям, настоящему беспощадному моральному бойкоту за нарушение «категорического императива» «прогрессивного» общественного мнения. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые приходящие в голову, самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — несть числа.

Мы склонны с презрением или в лучшем случае с улыбкой снисходительной иронии вспоминать этот недавний деспотизм общественного мнения. Напрасно. Ибо в нем ничего не изменилось, кроме содержания и названия кумиров, которым приносят эти человеческие жертвы. С тем же фарисейским самодовольством, с тем же жестоким и холодным невниманием к живой человеческой личности травят в настоящее время людей, живая душа которых не может улеться в трафареты «контрреволюционного» общественного долга. И опять идет проповедь общественного героизма как священного и потому морально-принудительного долга всякой личности, вне которого ей нет признания. И опять, роковым образом, на одного подлинно воодушевленного и свободного героя,

влекомого на подвиг внутренней любовью и призыванием, приходится десятки жертв, гонимых бичом морального общественного мнения.

Сколько людей вообще есть на свете, которые в области ли общественного служения или в какой-либо иной области нравственной жизни живут и даже умирают со славой «героя» не потому, что они — действительные герои, а только потому, что они слишком трусливы, чтобы скинуть с себя иго принудительного геройствования, — потому что часто морально легче даже умереть по принуждению, чем выдержать общественное презрение и дать отпор моральному общественному мнению. Так часто солдаты идут в смертельно опасную атаку и гибнут в ней не потому, что они полны подвижнического самоотречения, а только потому, что в тылу стоят пулеметы, отрезающие путь назад и грозящие отступающему уже верной смертью.

Быть может, нас упрекнул, что мы допустили непозволительный подмен понятий: наша тема была — власть «идей» и «моральных идеалов», а мы говорим о давлении общественного порицания, о гнете людского мнения. Нравственный идеал, скажут нам, есть то, что личность признает сама, во что она подлинно внутренне верует; нравственный идеал, согласно приведенному уже разъяснению Канта, всегда «автономен», власть же общественного мнения — «гетерономна». Но в том-то и дело, что это различие, теоретически так отчетливо устанавливаемое, в практике душевной жизни постоянно стирается и почти всегда совершенно отсутствует. И поскольку речь идет именно о нравственных нормах, выражаемых в рациональных, для всех людей и случаев жизни одинаково обязательных понятиях, и ничем иным, кроме своего собственного авторитета, не обоснованных, — мы именно и утверждаем, что живая личность по собственному, внутреннему, подлинно свободному отношению своему к ним их не признает, а лишь по нужде подчиняется им, как извне навязанному игу. Подлинная, конкретная нравственная жизнь — и личные потребности человека, не только низшие, но и высшие, духовные, от которых он не может отречься, и жизненная обстановка, живые отношения к людям — все это так сложно, индивидуально, что нравственная правда здесь всегда может быть лишь конкретной и не укладывается ни в какие общие принципы, нормы и идеи. Вот почему, кстати сказать, все философские попытки логически вывести содержания нравственных идеалов, понимаемых как общеобязательные нормы поведения, совершенно безнадежны, доселе ни к чему не привели и привести не могут. Этика «морали долга» теоретически висит в воздухе; в этом смысле этика совсем не есть наука — она есть просто кодекс авторитарных предписаний, в который я слепо обязан верить. Попытка Канта из одной лишь формы «категорического императива» как общеобязательного морального закона вывести его конкретное содержание с полной очевидностью разоблачена как безнадежное и бесплодное софистическое ухищрение мысли, которое логически опирается на неубедительные (и отвергаемые самим Кантом) соображения утилитарного порядка. Все же остальные возможности научно-логического обоснования этики в свою очередь убедительно опровергнуты самим Кантом. Всё они сводятся к попытке вывести нравственные идеалы из фактических, эмпирических потребностей человека; но именно поэтому все они допускают безнадежную логическую пропасть, содержат, выражаясь логически, недопустимый *metabasis eis allo genos* (необоснованный скачок из одной области в другую). Ибо из того, что все люди стремятся к тому или к другому, вовсе не следует, что их стремления нравственно ценны, что я обязан их уважать и подчинять им свою жизнь, т. е. калечить ради них свои собственные стремления, которые для меня имеют не меньше права на существование, чем господствующие стремления. Моральные принципы — во все моменты сложных, трагических конфликтов — не обладают для личности ни внутренней самоочевидностью, ни характером научно-логической обоснованности. Они просто навязываются, подобно юридическим нормам, как ограничивающая и давящая нас сила, с той только разницей, что сила их усугублена всей беспощадностью общественного порицания за их нарушение. Мы уже оговорились выше и еще раз повторяем: конечно, мы не хотим сказать этим, что моральные вехи в жизни совсем не нужны, что все моральные верования суть пустой предрассудок, который можно легко отбросить, чтобы отдаться безграничной свободе. Мы ищем, наоборот, света, который мог бы озарить, осмыслить для нас подлинные моральные идеалы, который уяснил бы нам с той последней,

непререкаемой внутренней убедительностью, которая здесь нужна душе, путь, по которому мы должны идти: но этого света мы не ощущаем в мнимо самодовлеющем авторитете самого морального законодательства.

Есть еще одна сторона дела, которая изобличает перед нами имманентную ложь, внутреннюю неправду в обычной структуре морального нормирования жизни. Всякий моральный принцип или идеал, в чем бы он ни выражался, если только он выражен отвлеченно-рационально, заключает в себе возведение некоего частного содержания жизни или интереса в достоинство верховного владыки и распорядителя тем бесконечным целым, которое дано в живой человеческой жизни. Объявляется ли нам наша обязанность служить народу или государству, или сохранить верность семье, или какая-либо иная обязанность в качестве высшего и абсолютного долга—всюду безмерная полнота нашего духа искусственно ограничивается, втискивается в узкие, строго очерченные рамки, беспощадно вталкивается в некое прокрустово ложе. Мы хорошо понимаем, конечно, необходимость какого-то вообще самоограничения, духовного формирования личности, без которого нам грозит расплыться в хаосе, потерять руководящую нить в жизни; но мы ищем этого формирования изнутри, из цельной природы нашего духа, из глубины нашего личного, неповторимо-своеобразного призвания.

Втискивание же нашей личности в какую-то частную, заранее, без внимания к ее своеобразию заготовленную форму мы неизбежно ощущаем как насилие и калечение, которому мы не хотим подчиниться, — более того, которому мы не можем подчиниться, даже если бы, того хотели. Ибо мы сознаем наш дух во всей его полноте и цельности как нечто абсолютно ценное, что мы и не вправе отдавать в рабство и чем мы и фактически не можем распоряжаться, потому что его исконно самобытное существо сильнее всех наших сознательных умыслов. И, даже в самых стихийных, отчасти даже в порочных влечениях наших мы ощущаем, быть может, низшие, требующие очищения и просветления, но все же подлинные, обнаружения этой превосходящей наш разум внутренней самобытности нашего существа.

Поэтому роковым, неизбежным последствием отвлеченно-морального нормирования жизни является моральное лицемерие. Жизнь распадается на две части — официальную и подлинную, интимную. В первой все мы — благопристойные, «порядочные» люди, внутренне спокойные, по свободному убеждению подчиняющиеся всем «принципам» и нормам морали, а некоторые из нас даже заслуживают репутацию «светлых личностей», «глубоко идейных» и «принципиальных людей». Но как мало внутреннего света, тишины, умиротворенности, как много бунта, мук, тьмы и порочности в глубине души даже самых «светлых личностей»! Моральное нормирование не только не достигает своей подлинной цели, но обычно достигает именно прямо противоположной цели. Ибо относительная легкость внешнего, видимого подчинения моральным нормам и та репутация, которую мы этим заслуживаем, легко ведет к моральному самодовольству, к фарисейскому самолюбованию, личность приучается скрывать от самой себя — а не только от других — тьму, смутность и слабость своего подлинного существа, свою истинную духовную нужду и смотреть на себя со стороны как на общепризнанного носителя моральных идеалов и ценностей; и дремлющие импульсы к внутреннему моральному совершенствованию, к духовному очищению и оформлению, к отысканию прочной духовной почвы постепенно замирают. Официальное служение высоким принципам, вера в них, а потому и в самого себя как их провозвестника и служителя действует на слабые человеческие души так же развращающе, как высокий чин, власть, богатство; человек от них духовно слепнет. Большинство из нас играет в жизни, в той или иной ее области, какую-то «роль» и старается только хорошо сыграть ее и заслужить одобрение зрителей; мы так вживаемся в эту роль, что продолжаем играть ее и без зрителей, для себя самих, может быть, даже умираем с заученными словами на устах. И лишь в редкие минуты мы, по большей части смутно, ощущаем неправду этой роли; и лишь немногие вполне мужественные и правдивые люди не боятся признаться самим себе, что они так же мало походят на изображаемые ими роли, как мало актер имеет внутреннего подобия с изображаемым им на сцене Юлием Цезарем или маркизом Позой.

Можно искалечить человеческий дух, можно внешне властвовать над ним; но внутренне поработить

его нельзя, даже если его носитель сознательно согласится на это. И потому моральные принципы и отвлеченные моральные идеалы не нормируют духовной жизни; они нормируют только ее внешние проявления, по большей части ценою внутреннего морального ее искажения, загрязнения, заключения ее в душную и отравляющую здоровье подземную тюрьму. Кто раз отдал себе в этом отчет — а какие-то, нам самим непонятные, духовные токи современности наводят нас на это, как будто вынуждают нас раскрыть глаза и смело видеть правду, — тот уже не может больше поклоняться кумиру «идей» и «нравственного идеализма».

И наконец — последнее. В умонастроении, подчиненном «моральному идеализму», служению «идеям» и «принципам», действует роковая диалектика, в силу которой все, что представляется очевидным добром в нравственном намерении и устремлении, становится злом в своем реальном осуществлении. Нравственный идеал, спускаясь со своих туманных отвлеченных высот на землю, внедряясь в жизнь и реально действуя в сложных, всегда несовершенных и противоречивых условиях человеческого быта и конкретной человеческой природы, обнаруживает себя неожиданно не как просветляющую, возвышающую, облагораживающую жизнь силу, а именно как силу разрушающую и угнетающую. Мы уже отметили это в размышлении о кумире революции и кумире политического идеала. Здесь мы можем это распространить на всякий вообще «идеал», т. е. на всякий выраженный в какой-либо отвлеченной формуле образец, которому должна быть подчинена жизнь и согласно которому она должна быть переделана. Нравственный идеализм всегда вполне прав в своем бичевании пороков и несовершенств существующего; и он привлекает к себе сердца своим мученичеством во имя высших начал, своею преданностью мечте о добре, подлежащем осуществлению. Но когда его провозвестники из роли мечтателей, обличителей и борцов за правду переходят в роль осуществителей этой правды, реальных распорядителей и властителей жизни, они возбуждают ненависть своей тиранией, невниманием к конкретно-сложным нуждам жизни, к многообразию человеческих потребностей и слабости человеческой природы. Чем пламеннее их вера в определенный идеал, чем более незыблем авторитет этого идеала, тем более слепо и жестоко они калечат и разрушают жизнь. Ибо ненависть к злу превращается в ненависть ко всей живой жизни, которую не удастся втиснуть в рамки «идеала». Тогда-то обычно обнаруживается, что, как ни несовершенна реальная жизнь, стихийно слагающаяся из несовершенных, слабых, порочных человеческих стремлений, она имеет уже то огромное, безмерное преимущество перед всяким отвлеченным идеалом жизни, что она как-то уж фактически сложилась, органически выросла, приспособилась к реальной человеческой природе и ее выражает, идеал же есть только то, что должно быть, что предписано к осуществлению, но что не имеет реальных корней в самой жизни и ради чего реальная жизнь разрушается и калечится. Чтобы вернуться к первой, исходной точке наших размышлений, к самому сильному внешнему впечатлению, под влиянием которого совершается наш нынешний моральный кризис: в чем, собственно, лежит последний источник столь потрясающе явно обнаружившегося зла социализма? В том, конечно, что социализм есть крайняя степень морально-общественного рационализма, мечта о подчинении всей жизни без изъятия, включая сюда даже всю сферу телесных нужд человека и их хозяйственного удовлетворения, строгим общим, отвлеченно выраженным, единообразным принципам моральной справедливости. Социализм ведь отрицательно совершенно прав: человек, даже если он никого сознательно не обижает, никому не причиняет умышленного вреда, — даже если он. только предается мирной обработке своего участка земли или труду в своей мастерской и столь же мирно обменивает потом произведенное на иные, нужные ему предметы, повинен в существующем зле и неправде, ответствен за нищету и голод своих ближних; он повинен уже потому, что думает только о своих нуждах, а не о нужде ближнего и об объективной справедливости; и, конечно, стихийное столкновение слепых эгоистических вожеланий далеко не всегда и не во всем обеспечивает — как это думали либеральные оптимисты — осуществление социальной гармонии и общего счастья. Но, когда социализм поэтому предписывает человеку подчинить свою хозяйственную жизнь строгим принципам социальной справедливости, радеть не о себе, а об общем благе, когда он пытается оковать жизнь этими суровыми принципами справедливости, грешное человеческое существо, понуждаемое быть

подвижником идеи, превращается в зверя, вообще неспособного к труду, а способного лишь к хищническому истреблению жизни. И тогда уясняется, что, как ни верна сама по себе моральная идея, она ложна и гибельна уже тем, что есть только идея, только отвлеченный «постулат», а не живая творческая сила, и что поэтому при столкновении ее с жизнью она не обогащает её, а обедняет и разрушает.

Но такова же судьба всякой вообще идеи, всякого отвлеченного идеализма; разница может быть лишь в степени их губительности, но не в самом характере их вредоносности; и степень эта определяется степенью логической оформленности, отвлеченной точности и потому узости нравственного идеала, можно сказать — степенью идеалистичности идеала, его удаленности от жизни, его принципиальности и потому антиреалистичности. И в этом смысле можно сказать, что есть только один идеал, который еще хуже материалистического социализма: это — последовательно «идеалистический» социализм, теократическая мечта насаждения на земле с помощью отвлеченных принципов морали совершенного общества святых, — идеал всяких толстовцев и им подобных сектантов. Ибо такое общество, если бы оно могло быть осуществлено, было бы осуществлением законченного зла, порождаемого ханжеством, изуверством, лицемерием, жестокостью и нравственной тупостью.

Такова роковая судьба идеализма. Его святые и подвижники неизбежно становятся фарисеями, его герои становятся извергами, насильниками и палачами. Нет, пусть мы, нынешние люди, безнадежно слабы, грешны, бредем без пути и цели — нравственным «идеализмом», служением отвлеченной «идее» нас больше соблазнить невозможно.

V. ДУХОВНАЯ ПУСТОТА И ВСТРЕЧА С ЖИВЫМ БОГОМ

Духовной жаждою томим
В пустыне знойной я влачился.

Из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»

Что же из всего этого следует? Или, вернее — так как мы не занимаемся здесь рассуждениями и теориями, — к чему мы, собственно, пришли? Что у нас осталось и чем нам жить?

Все кумиры, которым мы прежде восторженно служили и служение которым осмысливало нашу жизнь, потеряли свое обаяние, не могут привлечь нашей души, сколько бы людей кругом нас ни отдавало бы еще им своих сил. У нас осталась лишь жажда жизни — жизни полной, живой и глубокой, какие-то последние, глубочайшие требования и желания нашего духа, о которых мы не только не знаем, как их удовлетворить, но не знаем даже, как их выразить.

Ибо отрицательный результат нашего обзора духовных скитаний нас никак не может удовлетворить. Была эпоха в нашем духовном прошлом, когда этот отрицательный результат многим из нас казался великим положительным откровением. Это — быть может, последний, самый несовершенный и нежизненный кумир, с которым встречается душа на этих путях. Это — призрак полной, совершенной личной свободы. Мы уже встретились с ним и указали, что, по сравнению с тиранией моральных норм; он соблазняет нас намеком на какую-то жизненную правду. Но этот соблазн краток и слишком легко изблещается как ложь; лишь самые наивные, неопытные души могут на время ему поддаться. Ничего не искать, ничему не служить, наслаждаться жизнью, брать от нее все, что она может дать, удовлетворять всякое желание, всякую страсть, быть сильным и дерзким, властвовать над жизнью — это кажется иногда заманчивым; и, как указано, была краткая эпоха — ее можно назвать эпохой Ницше, — когда многим это казалось высшей жизненной мудростью.

Нам нет надобности какими-либо отвлеченными аргументами опровергать эту мнимую мудрость. Я думаю, о большинстве из нас можно сказать, что мы теперь уже не те и соблазн этот на нас не

действует. Свобода от всего на свете — к чему она нам, если мы не знаем, для чего мы свободны? Многие ли даст она нам, так ли уже велики все наслаждения и упоения, которые дает простая разнузданность стихийных желаний? Мы душевно состарились и скептически смотрим не на одни лишь «идеалы», но и на все так называемые «блага жизни». Мы хорошо знаем, что всякий миг счастья с избытком искупается страданиями или тоской пресыщения; мы знаем, что горя в жизни безмерно больше, чем счастья и радостей, мы извели нищету, мы ясно видим неизбежный конец всякой жизни — смерть, перед лицом которой все становится одинаково призрачным. Словом, мы имеем слишком живое ощущение бессмысленности жизни, чтобы увлечься самым голым процессом жизни. И слово «свобода» в этом смысле кажется нам даже оскорбительно-неуместным. Свободен ли тот, кто без смысла и цели шатается из стороны в сторону, блуждая без пути, подгоняемый лишь вождениями текущей минуты, бессмысленность которых он хорошо сознает? Свободен ли тот, кто не знает, куда деваться от духовного безделья и духовной нищеты? Перед лицом таких «соблазнов» невольно с горечью вспоминается старая глупая, но символически многозначительная острота:

— «Извозчик, свободен?»

— «Свободен».

— «Ну, так кричи: да здравствует свобода!»

Радостное увлечение жизнью, пренебрегающее обычными грани и обычный порядок, подлинное — всегда временное — упоение разгулом страстей, проистекающее не от отчаяния, а от избытка сил, возможно, по-видимому, только тогда, когда в глубине души жива вера в какую-то последнюю прочность и ненарушимость жизни. Подобно тому как ребенок буйнит и бесчинствует, исходя при этом все же из ощущения незыблемой твердости родительской власти, спокойного уюта родного дома, и становится недетски серьезным и тихим в чужой обстановке, когда душа его полна тревоги и неясности, — так и все мы, испытывая шатание духовной почвы под ногами, потеряли способность к детской беззаботности, к дерзновению буйного веселья — к тому, что немцы называют непереводаемым прекрасным словом «Uebermut». Чтобы насладиться радостным опьянением, надо иметь родной дом и быть уверенным, что в нем можно мирно протрезвиться. Иначе возможен только разгул отчаяния, то горькое, тяжкое пьянство, которому предается Мармеладов, потому что ему «некуда пойти».

То, чего мы ищем и по чему тоскуем, есть не свобода, а прочность и устойчивость, не хаотическое блуждание по бесконечным далям, а покой в родном доме. Нас носят в стороны бурные волны жизни, и мы мечтаем ступить ногой на незыблемо твердый берег. Или, еще вернее, мы висим в воздухе над бездной, ибо утратили внутреннюю связь нашего духа, нашей личности с бытием, и мы хотим восстановить эту связь, опереться на твердую духовную почву. Мы страдаем не от избытка, а от недостатка духовной силы. Мы изнемогаем в пустыне, душа наша ищет не бессмысленного простора отрешенности от всего, а, напротив, тесного, последнего слияния с чем-то неведомым, что может раз навсегда заполнить, укрепить, насытить ее.

Наша душа обнищала и изголодалась. Потеря веры — не легкое дело, низвержение кумиров, которым мы и наши отцы поклонялись так долго и страстно, — не детская забава. Вероятно, так же жутко, пустынно и тоскливо было нашим предкам, древним славянам, когда низвергался в Днепр Перун вместе с остальными идолами, и они не знали, кому теперь надо служить и у кого просить помощи в бедах. Ибо отречение от кумиров не есть наглое предательство, не есть отказ от веры и впадение в буйство нечестия: оно есть признак смены вер, и если новая вера еще не найдена, то падение старой само уже есть признак страстного ее искания, мучительного томления по ней.

Благо тому, кто в этой тоске, в этих мучениях духовного голода и жажды имеет близкую, родную душу — все равно, друга, мать или жену, — перед которой он может излить свое томление или с которой он может по крайней мере хоть передохнуть от него, — ибо часто мы не только самому близкому человеку, но даже себе самим не можем высказать до конца то, что нас мучит. И горе одинокому!

Одно родное существо есть, впрочем, у нас всех: это — родина. Чем более мы несчастны, чем более пусты наши души, тем острее, болезненнее мы любим ее и тоскуем по ней. Тут мы, по крайней мере,

ясно чувствуем: родина — не «кумир», и любовь к ней есть не влечение к призраку; родина — живое, реальное существо. Мы любим ее ведь не в силу «принципа патриотизма», мы не поклоняемся ни ее славе, ни ее могуществу, ни каким-либо отвлеченным признакам и началам ее бытия. Мы любим ее самоё, нашу родную, древнюю, исконную мать; она сама теперь несчастна, обещана, больна тяжким недугом, лишена всякого величия, всяких приметных, бесспорных для постороннего достоинств и добродетелей; она и духовно больна вместе со всеми нами, ее детьми. Мы можем любить ее теперь только той «странной любовью», в которой признавался великий, столь духовно близкий нам, тоскующий русский поэт, «гонимый миром странник с русской душой» .

Эта «странная любовь» есть для нас теперь единственная подлинная, простая любовь — та всепрощающая любовь, для которой «не по хорошу мил, а по милу хорош». В пылу политических страстей — тех, теперь уже для большинства из нас мнимых, показных страстей, которые мы сами раздуваем в себе, чтобы заглушить ими духовную пустоту, и о которых тот же поэт почти сто лет тому назад так горько сказал: «и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь горит в крови» , — в этом туманящем чаду мы часто забываем нашу подлинную любовь и невольно отрекаемся от несчастной матери — единственного сокровища, оставшегося у нас на земле.

Мы выставляем напоказ ее позор, мы злорадно усмехаемся ее страданиям, мы стараемся даже преувеличить и ее скорби, и глубину ее нравственного падения, потому что не можем примириться с тем ложным путем, по которому она пошла. Мы взваливаем на других и на нее самое ту ответственность за ее грехи и несчастия, которая лежит одинаково на нас всех, ее детях, мы часто готовы отождествить ее столь дорогую и родную нам душу, которая — мы знаем это — непреходяща, с бесчинством и мерзостью ее порочных детей-насильников, теперь издевающихся над ней. Но все это происходит в поверхностном, показном слое нашей души. Подлинное наше отношение обнаруживается не на словах, не в сознательных рассуждениях и оценках, а в той тоске, в тех слезах умиления, с которыми мы думаем о родных полях и лесах, о родных обычаях и внимаем звукам родной песни. Тогда мы знаем, что милее, прекраснее родины нет страны на свете.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу —
Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Да, мы знаем:

...ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

Из стихотворения А. А. Блока «Россия»

Если бы только мы могли помочь нашей родине воскреснуть, обновиться, явиться миру во всей ее красоте и духовной силе — мы, кажется, нашли бы исход для своей тоски, хотя бы для этого нужно было отдать свою жизнь!

Но тут именно мы и ощущаем безысходность нашего положения, безнадежность нашей мечты. И совсем не потому, что «большевики еще держатся», что мы не знаем средств для их свержения, и что не предвидится конца их владычеству. Кто еще верит, что спасение родины заключено в простом «свержении большевиков», что «большевики» — это какое-то наносное, случайное зло, которое достаточно внешне устранить, чтобы воцарилась на Руси правда и счастье, — кто еще живет верой в этот политический кумир, еще опьянен революционным дурманом с обратным содержанием — тот не

знает нашей тоски и не для того пишутся эти строки. Но мы-то, к несчастью, хорошо знаем, что нельзя помочь никому, в том числе и родине, если сам — беспомощен, что нищий не может никого обогатить и больной не может стать ничьим целителем. Мы знаем, что мы сами больны одной и той же болезнью с нашей родиной, как бы ни были различны симптомы этой болезни, и что мы исцелимся только вместе — если исцелимся! Мы направим ее на новый, верный путь не ранее, чем найдем его для себя самих. И потому как не спасает нас любовь к близким людям, которая лишь смягчает, но не утоляет нашу духовную тоску, так не спасает нас и самая искренняя, самая пламенная и беззаветная любовь к родине. Сама вера в нее, без которой немыслима и любовь, коренится — мы ясно это чувствуем — в какой-то иной, более глубокой и всеобъемлющей вере, в которой мы должны еще укрепиться, которую мы должны с непрекаемой и незыблемой очевидностью обрести в своей душе, но которой у нас доселе нет. Хотя любовь сама по себе не нуждается ни в каком обосновании, но без этой веры она все же лишена какой-то последней прочности, какого-то глубочайшего оправдания. Мало ли было народов, которые погибали от внешних ли несчастий или от духовного разложения? Чем же мы, русские, лучше других, и отчего в этом мировом землетрясении не можем исчезнуть и мы? Может быть, Россия — такой же мираж, как все остальное, нас окружающее? В нашей духовной пустоте мы не можем найти убедительного опровержения этой кошмарной фантазии.

Нет, — мы чувствуем это — без веры в что-то первичное, основное, незыблемое, без последней, глубочайшей твердыни, на которую мог бы опереться наш дух, никакие земные влечения и увлечения, никакая любовь и привязанность не могут спасти нас.

На этих путях, в этом безнадежном и безвыходном блуждании души по необъятной, бескрайней пустыне, когда тоска и духовная жажда доходят до предельной остроты и становятся как будто невыносимыми, — происходит встреча души с живым Богом.

Неизъяснима эта встреча и у каждого происходит по-своему. Она либо неожиданно потрясает душу, либо подготавливается в ней медленным процессом просветления. Ее нельзя никаким образом «общеобязательно» обосновать для того, кто сам ее еще не испытал, чья душа к ней не подготовлена, ее самое нельзя даже описать. Но как-то рассказать о том, что есть в ней общего для всех людей, о тех силах души, которые толкают к ней, и, главное, о ее великих последствиях для судьбы души — это все-таки возможно.

Легче всего, быть может, отдать себе отчет, как и почему происходит эта встреча, если попытаться уяснить себе, чего мы, собственно, ищем, в чем мы нуждаемся и от чего тоскуем.

Мы ощущаем в себе какие-то неистребимые, могущественные духовные порывы, которые остаются без удовлетворения. В чем они, собственно, состоят? Что нам нужно?

Не следует говорить, что мы ищем «святыни», которой мы могли бы поклониться, подлинных «идеалов», которым мы могли бы служить. Эти возвышенные слова звучат для нас холодно и неубедительно, и после всего нашего опыта мы относимся к ним подозрительно. В них для нас, в нашем нынешнем состоянии, есть что-то неподлинное, какая-то режущая ухо фальшь: они напоминают нам того пустомелю из персонажей Островского, который любил повторять: «все высокое и все прекрасное, Анфиса Павловна...».

То, чего мы ищем, есть, напротив, нечто очень реальное и простое — если хотите, даже нечто очень грубое и неидеальное, — но зато подлинное. Мы ищем настоящей жизни, жизненной полноты и прочности. Нам неясно, должны ли мы вообще кому-то или чему-то служить, и мы, во всяком случае, не знаем, чему мы должны служить. Но что жить мы хотим и должны — это мы достаточно хорошо понимаем и этого доказывать не приходится. А между тем мы не живем; источники жизни иссякают, запасы питания, которыми мы доселе поддерживали жизнь, кончились или кончаются, мы едва спасаемся от смерти глотанием сухих корок, оставшихся нам от прошлого. Мы погибаем. И потому мы ищем не «служения», не «идеалов», не морали — мы ищем просто спасения, личного спасения. Пусть моралисты усмотрят в этом один лишь эгоизм, пусть они проповедуют нам что угодно, мы знаем, что эта глубочайшая жажда самосохранения не нуждается ни в каком оправдании, ибо она имеет для нас самоочевидность последней, решающей инстанции. Мы знаем, что утопающий имеет право требовать

помощи и что нельзя при виде его начать рассуждать о служении идеалам, а нужно просто вытащить его из воды.

Мы утопаем потому, что почва, на которой мы пытались стоять, оказалась зыбким, засасывающим болотом, а мы ищем твердой земли под ногами. Мы не можем опереться ни на какие «идеалы», потому что они оказались призраками; вместо того чтобы поддерживать наш дух, они берут его в плен, требуют от нас самоубиения, умаления и извращения нашей жизни во имя их. И мы не можем опереться на самих себя, на одну лишь жажду жизни или на внутреннюю силу жизни в нас, ибо это именно и значит висеть в воздухе. Нет, нам нужна подлинная почва — духовная реальность, которая была бы чем-то иным, чем наше собственное «я», и именно потому и могла бы его поддерживать, и вместе с тем чем-то ему глубоко родственным, близким, тождественным по содержанию, что поэтому ничего не отнимало бы от него, не было бы ему враждебно, а лишь все давало бы и во всем помогало. Нам нужно прильнуть, навсегда прикинуться к чьей-то дружеской груди, держаться за чью-то могучую и благодетельную руку. Нас может спасти не «идеал», не какой-либо моральный суд и не слова и рассуждения.

Нас может спасти только любовь — но любовь такого существа и к такому существу, которое не было бы так же слабо, беспомощно и бедно, как мы сами, которое само уже прочно стояло бы на своих ногах и было бы достаточно богато, чтобы поить и кормить наш дух. Мы — бессильные, затерявшиеся в чуждой среде дети, и ищем отца или матери. Наш дух оторвался от своих корней и теперь увядает; и он судорожно ищет вновь связаться с этими корнями и глубоко-глубоко зарыться ими в исконное материнское лоно родной духовной почвы, чтобы снова расцвести и начать приносить плоды. Чтобы не ощущать смертельной пустоты в глубине, так сказать, в последнем конце нашего духа, надо, чтобы он и не имел этого конца, надо, чтобы он был непосредственно связан с бесконечным духом. Чтобы жизнь наша не иссякла, надо, чтобы она изнутри питалась вечным источником жизни.

Надо только до конца понять смысл и предмет своих исканий, чтобы найти то, что ищешь. И тут с нами легко происходит то, что с благодушной иронией рассказывает о себе современный английский писатель Честертон:

«Я всю жизнь искал истины, и думал, что ее никто не знает, и старался быть хоть на несколько лет впереди своего века; но в один прекрасный день я понял, что я отстал от истины ровно на девятнадцать веков».

Ведь, в самом деле, уже девятнадцать веков тому назад истина была возвещена миру, — более того, явлена миру сама Живая Истина, и людям было открыто именно то самое, чего мы теперь так мучительно и как будто безнадежно ищем. Мы устали от всех рассуждений и идей, изверились в них и духовно обнищали. А Христос сказал: «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы ищем не морального суда, а просто спасения от духовной гибели. А Он сказал: «Я пришел не судить, а спасти мир». Мы жаждем любви, которая могла бы нас поддержать, и Он возвестил, что Бог есть любовь, что у нас есть Отец — вечный и всемогущий Отец, который любит своих детей и ни в чем не откажет просящему. Мы ищем истины, которая могла бы нас духовно озарить, подлинного пути в жизни, который не уничтожал бы нашей жизни, а был бы выражением истинной, глубочайшей силы жизни, таящейся в нас и томительно не находящей себе исхода. А Он сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь» — и в этих трех словах выразил, дал нам то невыразимое, подлинное, последнее, к чему мы стремимся. Мы устали, утомились и тяжестью, и пустотой жизни, и Он отвечает нам: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Мы ищем служения, которое не убивало бы нам душу, а давало бы нам радость и покой, и Он дает нам «иго благое и легкое бремя».

Изумительно, как эти знакомые, старые слова, которые мы привыкли с детства слышать и которые именно потому звучат для нас обычно без особого смысла, — как эти слова точно, просто и не по-человечески выразительно отвечают нашей нужде, содержат именно то, о чем мы взываем и что мы сами часто не в силах выразить не только другим, но и самим себе. Кто раз это ощутил с последней ясностью, с силой, соответствующей значительности содержания, кто воспринял это так, как в безысходной беде, когда мы считаем себя уже погибшими, мы воспринимаем голос друга, ободряющий

нас и возвещающий нам спасение, — кто впитал в себя этот образ Бога, до конца ведающего всю человеческую нужду. Бога, который сам принял на себя все грехи и страдания мира, — того не смутят уже никакие сомнения, тому просто не интересны отвлеченные, духовно слепые философские рассуждения о религии, или исторические догадки об «истинной» личности Христа, или о происхождении веры в Него. Если бы нашелся человек, который с полной, последней ясностью раскрыл бы нам нашу собственную душу, — ни о чем нас не расспрашивая, объяснил бы нам все, что и нам самим непонятно в ней, и нашел бы слова утешения и исцеления, дающие нам как раз то, что нам нужно, — мы знали бы с совершенной очевидностью, что у нас есть истинный, бесконечно богатый духом друг и наставник. А если бы он сделал это не одними словами только, а всей своей жизнью, всем своим существом, явив миру в своей личности воплощение высшей, абсолютной истины — так, что эта истина, раз выраженная и во всей своей полноте явленная в живом личном облике, живет в нашей собственной душе, как ее вечное начало, как незыблемая опора и неиссякающий источник жизни, — мы знали бы наверное, что наш наставник и спаситель есть сам Вечный, божественный Дух, что Он всегда с нами и при нас, что Он не умирал и умереть не может. И мы знаем это.

Теперь, когда нам раскрылось это, мы понимаем самый смысл наших исканий, нашей тоски. Мы ищем спасения, ищем истинной и вечной жизни, того последнего, глубочайшего источника жизни, который вместе с тем есть свет, радость и покой. И — повторяя слова блаженного Августина: как могли бы мы искать Его, если бы у нас Его не было? Ведь искание, не находящее себе удовлетворения ни в каких благах и ценностях мира, предполагает смутное видение и чаяние чего-то иного, совершенной, всеобъемлющей и вечной жизни. Но откуда могло бы взяться в нашем духе такое искание, если бы он сам был всецело земного, мирского происхождения, если бы за гранью чувственно-ведомого нам не было бы ничего иного, никаких таинственных глубин и запредельностей? Что же такое — та сила, которая гонит нас от одного стремления к другому, не позволяя остановиться на одном, что же заставляет нас отречься от кумиров и разоблачать их пустоту и зло, что же бьет в нас неукротимыми волнами, разрывая все цепи и заливая все ограниченные формы, все берега, которыми земная жизнь стесняет наш дух? Откуда в нас эта сила, откуда эта бессмысленная вера в безграничность и верховную ценность нашего духа, если он есть только маленькая беспомощная человеческая душонка, продукт наследственности, среды и воспитания?

Нужно только, как говорил Платон, суметь «повернуть глаза души», нужно только внимательно взглянуть в свою собственную душу и суметь ощутить даже только свою собственную тоску и неудовлетворенность как обнаружение новой глубочайшей онтологической реальности в последних недрах собственного духа, чтобы непосредственно убедиться, что предмет наших исканий — не призрак, а подлинная реальность, и не нечто далекое и недостижимое, а нечто бесконечно близкое нам, вечно при нас находящееся: ибо тот вечный источник жизни и света, которого мы ищем, — он-то сам и есть та сила, которая гонит нас на поиски его. Об этих смутных, туманных, бессильных поисках можно сказать уже то самое, что великие мистики знали и высказывали о молитве: что она сама есть благодать, посылаемая Богом, что Бог слышит нас раньше, чем мы обращаемся к нему, и Сам влечет нас взывать к Себе. В этих исканиях обнаруживается, что в нашей душе уже живет — смутно и неведомо для нас самих — образ истинного Бога, как Бога жизни, Бога истины и любви. Мы ощущаем пустоту в глубине души, мы болезненно испытываем оторванность нашего духа, как бы обнаженность его внутреннего конца — вроде того, как обнаженный конец нерва мучительной болью реагирует на всякое внешнее прикосновение. Но почему это? Потому что мы знаем, что наш дух должен прочно и тесно сидеть своими корнями глубоко в духовной почве; мы, значит, знаем или предвидим, что эта почва, эта бесконечная реальность духовной жизни есть. И в тот самый момент, как мы сознательно уразумели, что мы знаем это, — в этот самый момент и силою самого этого знания мы уже ощущаем реальное соприкосновение с ней, мы уже живем в ней и с нею.

Теперь мы также ясно понимаем, почему все кумиры, которым мы раньше поклонялись, должны были пасть и что означает их падение. Мы переживаем его так мучительно, как будто бы оно было опустошением души, гибелью в ней всех жизненных сил и импульсов. Мы видим теперь, что на самом

деле оно есть только освобождение, очищение души от призрачных и мертвых подобий жизни, — очищение, совершенно необходимое для погружения души в вечный и всеобъемлющий источник подлинной жизни и вместе с тем, неведомо для нас самих, осуществляемое уже просочившимися в нашу душу водами этого источника. Все наши мечты, направленные на будущее и его самочинно-человеческое созидание, все «идеалы» и «нормы», которые, как таковые, мы сами противопоставляем реальности, — все это — призраки, тени и лживые подобию бытия, лишённые корней в Сущем, в истинной жизни. Истинно сущее есть не мечта, которая из ничего зарождается в уединенной человеческой душе и подлежит еще осуществлению в будущем; истинно сущее не есть также — несколько перефразируя здесь слова Гегеля — одна лишь «идея», которая так слаба, что не есть, а только «должна быть». Сущее есть истинное, бесконечно полное, вечное Бытие, оно есть живая бесконечная жизнь и подлинно реальная, всемогущая, творческая сила любви. Она творит новую жизнь, она совершенствует нас и весь мир не от убогости, не от пустоты небытия, тоскующей по наполнению, а от бесконечного избытка реальности, изливающегося на все слабые зачатки бытия и заставляющего их расцветать и приносить плоды. И Сущее не есть мертвая схема, формула, претендующая быть жизнью, отвлеченно препарированная часть живой плоти бытия, хотящая собой исчерпать его и потому роковым образом рождающая лишь смерть и ненависть, которая истребляет все живое. Сущее, будучи истинной жизнью, есть бесконечная любовь, исцеляющая все недуги нашего ограниченного бытия, восполняющая все его недостатки, даже воскрешающая мертвых — призывающая и побуждающая все мертвое окунуться в живую воду и в ней возродиться, стать живым. В конце концов, погребло только то, что должно было погибнуть, потому что не имело никакой жизни в себе, а было лишь мертвым и призрачным подобием жизни — манием нас миражом и блуждающим огоньком. В этой гибели отныне для нас нет уже ничего страшного, она не может навести на нас уныния. — И вообще уже ничто отныне не может внушить нам уныния. Через глубины нашего, доселе опустошенного духа мы наконец добрались до твердой, незыблемой почвы, на которой мы прочно стоим отныне обеими ногами. Через бесконечную тьму нам блеснул свет, который нас отныне внутренне озаряет.

В первый момент эта встреча с Богом, это нащупание почвы под ногами и открытие внутреннего света ничего не меняет для нас во всем остальном, во внешнем мире, в наших отношениях к людям и к земной жизни. Мы только обрели в душе источник неиссякаемой радости, чувства прочности и покоя. Мы нашли вечного Друга и Отца, мы не одиноки и не покинуты более; в тишине, наедине с собой и Богом, мы наслаждаемся радостью любви, по сравнению с которой уже несущественны, незначительны все неудачи, разочарования и горести внешней жизни.

...среди суевы случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.

Из стихотворения В. Соловьева «Имману-Эль»

Мы внимаем обычным людским разговорам, интересам и страстям, обычным нищенским заботам человеческой жизни с благодушно-иронической улыбкой человека, который про себя знает великий секрет, совершенно изменяющий жизнь и дающий ей новый смысл и направление. Мы знаем: люди считают себя нищими, они полны тяжких забот, угрюмой, истомляющей и ожесточающей борьбы за существование и не ведают, что они — владельцы огромного наследства, безмерного богатства, навсегда обеспечивающего им радостную и спокойную жизнь. Но мы-то знаем про это сокровище, мы уже набрали на него и потому хорошо понимаем, как смешны и пусты их заботы и волнения. Это внутреннее сокровище, этот дар безмерной любви первоначально только противостоит, как внутреннее бытие и внутреннее достояние, всей внешней жизни и окружающей среде. Более того: этот

внутренний свет часто бывает так ослепительно ярок, что перед ним тускнеет все остальное. Все кажется нам несущественным, неинтересным, незначительным по сравнению с внутренним нашим богатством. Мы, быть может, походим на эгоистических влюбленных, которые ради счастья своей любви забывают все остальное и становятся равнодушными ко всем людям и ко всем жизненным интересам.

Но это — только временное, преходящее нарушение духовного равновесия от слишком большой силы и яркости впечатления. Событие, с нами совершившееся, ведет к дальнейшему просветлению и развитию; сила, к которой мы приобщились, должна обнаружить свою истинную творческую природу. Событие это есть — внутреннее раскрытие души, прекращение ее замкнутости, ее холодного и обессиливающего бытия в самой себе. А сила эта есть сила бесконечной любви, сила истинной жизни. И потому душа должна продолжать дальше раскрываться и постепенно, через свою исконную связь с Богом ощутить такую же тесную, внутреннюю связь со всеми людьми и всем миром. А живое открытие вечной и бесконечной любви как последней основы и существа нашего и всяческого бытия должно вести к тому же: через Бога мы постепенно научаемся любить все, поскольку оно есть обнаружение подлинного бытия; сила вечной любви, которая сначала лишь возбудила в нас любовь к самой себе, должна продолжать рождать в нас любовь ко всему и всем. В «Добротолубии» есть прекрасный образ аввы Дорофея: подобно тому как точки разных радиусов — чем дальше от центра, тем дальше и друг от друга, и чем ближе к центру, тем ближе и друг к другу, — так и люди постепенно сближаются по мере своего общего приближения к абсолютному средоточию бытия и жизни — к Богу. Вспоминается и другой образ, поминаемый многими религиозно-просветленными мыслителями: подобно тому как листья дерева отделены и как бы обособлены друг от друга, непосредственно не соприкасаясь между собой, но в действительности живут и зеленеют только силою соков, проходящих в них из одного общего ствола и корня, и питаются влагой общей почвы, так и люди, будучи вовеки обособленными, замкнутыми друг от друга существами, внутренне, через общую связь свою с всеобъемлющим Источником жизни, слиты в целостной единой жизни.

Так, вместо всего множества «идеалов», принципов и норм, увлекавших нашу душу на ложные пути, которые заводили в тупики, и истязавших ее, перед нами стоят всего лишь две заповеди, достаточные, чтобы осмыслить, обогатить, укрепить и оживить нашу жизнь: безмерная, безграничная любовь к Богу как источнику любви и жизни и любовь к людям, вырастающая из ощущения всеединства человеческой жизни, укорененной в Боге, из сознания братства, обоснованного нашим общим сыновним отношением к Отцу. И эти две заповеди выразимы и были выражены как одна: нам заповедано стремление к совершенству, уподобление, в меру возможности, нашему Отцу Небесному как Совершенному источнику любви и жизни. И эти две — или одна — заповеди не выступают перед нами извне, с холодным и непонятным авторитетом моральных «норм» или предписаний. Мы внутренне понимаем их как необходимые пути нашего спасения, сохранения нашей жизни. Нас судят не как преступников, над которыми произносит приговор равнодушный судья во имя холодного, не вникающего в нашу душевную нужду юридического закона. Нас судит голос нашего Отца, любящего нас и наставляющего нас на путь спасения; из этого внутреннего суда мы просто узнаем, на каком пути мы идем к жизни и на каком — к смерти, где наше спасение и где — гибель.

И отныне многое из того, что раньше казалось нам мертвым кумиром и действительно было изобличено нами как кумир, — в иной форме и с совсем иным смыслом начинает воскресать в нашей душе, как живая сила и как разумный путь и правило жизни. Прежде всего, вся область морали. Мы не понимали, почему мы обязаны ломать и калечить свою жизнь в угоду каких-то отвлеченных принципов, и наш дух, жаждущий свободы и жизни, протестовал против этого угнетения. И действительно, мы достаточно убедились, что безрелигиозная мораль принципов, мораль долга и категорического императива есть идол, лишь истребляющий, а не совершенствующий жизнь. Но теперь мы открываем в себе новый живой источник осмысленной и понятной нам морали. На вопрос: почему мы обязаны делать то-то и то-то, что нам не хочется, и должны подавлять в себе естественные желания нашей души, мы внутренне теперь сами себе можем ответить. Мы можем привести пример

больного, который ради выздоровления действительно должен принимать горькие лекарства и обрекать себя на ограничение самых сильных желаний своего тела; или пример утопающего, который, чтобы выбраться из засасывающей глубины на берег и тем спасти свою жизнь, должен напрягать все свои силы, стараться, как это ни трудно, держать голову над водой и плыть не по течению, увлекающему его в бездну, а против течения.

Вся мораль — мы хорошо понимаем это — есть не что иное, как такая гигиена или техника спасения, сохранения своей жизни—самоочевидно разумные правила охраны того «сокровища на небесах», которое есть единственный источник, единственное средство нашего существования и о котором мы в нашей природной слепоте и легкомыслии так часто забываем. Эта задача — не потерять сокровища, раз обретенного нами, не быть снова отлученным от него, не зарыть дарованного таланта в землю, а растить его и пользоваться его благами, — эта задача не всегда легка для нас: она требует от нас постоянной бдительности, борьбы с нашими слепыми вожделениями, мужественной силы воли, часто жестокого упорства. И все же она — радостное и осмысленное дело, усилия которого тотчас же вознаграждаются сторицей и которое поэтому, при всей его трудности, легко совершать.

При свете обретенного нами знания истинного бытия нам теперь постепенно открывается или мы, по крайней мере, предугадываем целый новый мир — сферу духовных основ жизни; и в этом мире царит строгая, неукоснительная закономерность — не менее точная, чем в мире физическом, хотя и иного порядка. Это есть то, что гениальный христианский мыслитель Паскаль называл *ordre du coeur* или *logique du coeur* — «порядок» или «логика» человеческого сердца. Основные черты этого порядка предугазаны заветами христианства, они просто открыты в христианстве, которое есть абсолютная истина человеческой души; именно в этом смысле надо понимать тонкое изречение Тертуллиана, что «душа — по природе христианка». Этот «порядок сердца» не может быть безнаказанно нарушен, ибо он есть условие осмысленности, прочности нашей жизни, условие нашего духовного равновесия и поэтому самого нашего бытия; его так же мало можно нарушить, как мало можно безнаказанно нарушать законы телесного здоровья, нормального порядка органической жизни или законы механики и физики. Этот духовный строй бытия, постижение которого есть

«иудеям соблазн и эллинам безумие»

, то есть кажется чем-то недопустимым для тех, кто ведают только внешние нормы и политические идеалы жизни, и бессмысленным — тем, кто знают лишь жизнь природного мира, — есть для зрячего абсолютная, строгая истина, обосновывающая всю его жизнь и обеспечивающая ей высшую разумность. Мораль, будучи отвлеченно недоказуема, как самодовлеющее знание, сама собой, с совершенной необходимостью, с полной предопределенностью своей структуры вытекает из религиозного непонимания. Будучи живой, человеческой моралью любви и спасения, она вместе с тем есть строгая мораль аскетики, самоограничения и самопожертвования, ибо основной ее закон именно и гласит, что нельзя спасти своей души, не потеряв ее, и что нельзя обрести царство небесное иначе, чем несением своего креста. Ибо

«широки врата и просторен путь, ведущие в погибель, и тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь»

. И мы понимаем теперь губительную ложь аморализма, который предоставляет человеку свободу — гибнуть и закармливает больную душу сладостями, когда для выздоровления ей нужны горькие лекарства. Мы понимаем даже относительную ценность обычной непросветленной, гетерономной — вопреки Канту — морали, ибо пока человек не прозрел, неизбежны некоторые внешние правила, ограничивающие его произвол и охраняющие его от зла, как бы неизбежно несовершенны ни были эти средства и как бы часто, будучи восприняты как самодовлеющие высшие начала, они сами ни вырождались в зло.

И все же эта живая религиозная мораль глубоко отлична по внутреннему своему строю от мертвой морали долга и «нравственного идеала». Ибо вся она проникнута живым ощущением присутствия реального источника жизни и вместе с тем сознанием несовершенства и слабости природного существа человека; и вся она есть излучение любви, стремления к спасению. Поэтому в ней ненависть ко злу никогда не вырождается в ненависть к самому существу жизни и к отдельным конкретным людям. Религиозный аскетизм есть благодостный аскетизм спасения, а не иступленно-жестокий аскетизм морального фанатизма. В этом умонастроении человек старается быть беспощадно строгим к самому себе, ибо хочет действительно переродиться и боится утерять великое сокровище, которое ему доверено; но, ощущая свою собственную греховность, он не будет строго судить других и будет стараться быть не их судьей, а их помощником. Ибо он живет не моралью суда, а моралью спасения; и он хорошо знает, что, с одной стороны, все люди одинаково не заслуживают великих благодеяний, которые им дарует Бог, и, с другой стороны, одинаково суть дети Божий, которые не будут покинуты своим Отцом. Для истинно верующего немислимо лицемерие, роковое деление жизни на официально-показную и интимно-подлинную нравственную жизнь; ведь дело идет о личном спасении, об удовлетворении самой глубокой и истинной потребности души, и здесь нет обеднения и иссушения души, а есть ее безмерное обогащение и расцветание. Совершенствование есть здесь великое личное счастье, которое скорее склонно стыдливо прятаться от людей в тайниках души, чем нагло навязываться людям. И во всем этом веет дух любви, как самого существа жизни и спасения: поэтому здесь немислива холодная, враждебная живой человеческой душе и отчужденная от нее строгость внешней моральной борьбы, а лишь любовная помощь в пробуждении истинного света в душах братьев. Здесь непосредственно очевидно, что нарастание добра есть не механический результат истребления зла и тем менее — истребления злых людей, а плод органического внутреннего возвращения самого добра в себе и других. Ибо зло есть небытие, пустота, выдающая себя за полноту; оно исчезает, лишь вытесняемое полнотой, существенностью, глубинной реальностью добра. И точно так же при этом благодостном свете для нас воскресают с иным смыслом и содержанием потерянные идеалы человеческих отношений и общечеловеческого общественного устройства. Мы, конечно, не можем уже вернуться к старым идолам и еще лучше понимаем теперь их ложность: мы не можем верить ни в какой — абсолютный порядок общественного устройства, не можем поклониться никаким политическим формам и доктринам. Мы знаем, что царство истинной жизни — не от мира сего и никогда не может быть адекватно и сполна осуществлено в условиях неизбежно греховной и несовершенной земной жизни. Но вместе с тем мы знаем с полной ясностью те пути, по которым должны идти наши отношения к людям и развитие общественности. Мы сознаем, прежде всего, как основной закон нашего нравственного мира, круговую поруку, связывающую нас со всем миром. Сознвая всеединство бытия, укорененного в Боге, мы ясно видим свою ответственность за зло, царящее в нем, и так же ясно понимаем невозможность нашего спасения вне общего спасения. Как отдельный лист на дереве не может зеленеть, когда засыхает и гниет все дерево, ибо все дерево в целом связано общностью жизни, так и в общечеловеческой жизни господствует внутренняя солидарность, которая не может быть безнаказанно нарушена. Отсюда вытекает основное внутреннее правило любви к людям и солидарности с ними во имя нашего собственного спасения. Но мы знаем также, в чем именно заключается истинное благо человеческой жизни, и поэтому отныне нас не соблазнят ни какие-либо утопии социального рая, равенства распределения и всеобщей материальной сытости, ни внутренне родственные им, хотя обратные по содержанию мечты о бездушном могуществе государственной власти, о земном величии и военной славе. Мы знаем истинные, духовные основы и цели жизни и хорошо понимаем как вытекающую из них неизбежную иерархичность человеческой жизни, необходимость подчинения худших — лучшим и всех — общему закону жизни, так и необходимость уважения ко всякой человеческой личности и братского к ней отношения. Новый инстинкт духовного здоровья и самосохранения — который более сведущими может быть раскрыт и осмыслен в целую систему гигиены духовного бытия — руководит отныне всей нашей жизнью — и нашими личными отношениями к людям, и нашим отношением к вопросам

общественной жизни.

Когда, руководясь этим непосредственным чутьем живой, подлинной правды, мы озираем нынешнюю общественную жизнь и действующие в ней идейные силы, мы чувствуем, что не можем отождествиться ни с одним из господствующих в ней направлений. Мы, конечно, с отвращением отталкиваемся от цинизма, наглости и беспринципности неверия, которое в ныне властвующих на Руси силах попирает правду и глумится над ней; и мы ни в малейшей мере также не можем делать ему духовных уступок, становиться на духовно-половинчатую, компромиссную позицию, вытекающую из желания одновременно и отгородиться от чистого зла, и не отстать от «духа времени», в котором это зло и безумие и есть господствующая сила. С другой стороны, мы не можем сочувствовать и всем тем, кто по искреннему ли побуждению или из фарисейской гордыни блюдут свою чистоту, окружая себя стеной ненависти ко всему существующему и с болезненной экзальтацией предаваясь фанатическому культу общественно-политических идолов, давно уже поверженных, — кто по-прежнему, хотя и с обратным содержанием, смешивает религиозную веру с отвлеченной моралью, а мораль — с политическими «принципами». Духовная вселенная для нас по существу не вмещается в линейное измерение справа налево, и культ «правого» есть для нас такое же идолопоклонство, как и культ «левого». Среди захватившего нас водоворота, когда рушатся старые, привычные формы жизни и назревают неведомые новые и когда вместе с тем испытывается крепость человеческого духа, мы сознаем необходимость строгого различения вечного от временного, абсолютного от относительного. Необычность жизни, ее расшатанность и зыбкость, новизна жизненных условий требуют от нас сочетания величайшей, непоколебимо-стойкой преданности вечным началам, подвергаемым поруганию и сомнению, с духовной широтой и свободой, с чутким, непредвзятым отношением к реальному складу жизни и ее нуждам. Это сочетание твердой верности правде с полной духовной свободой, готовности мученичества во имя правды — с терпимостью к людям, со склонностью, не боясь загрязниться, вступать с ними в живое общение среди всего царящего зла, — это сочетание и дается лишь религиозному духу, постигшему живую вечную правду и осененному ее благодатным духом. С одинаковым отрицанием, но и с одинаковой терпимой любовью к заблуждающейся человеческой душе относимся мы и к неверующим, и к идолопоклонникам и идем своим собственным путем.

И — чтобы покончить здесь с этим перечнем, в конце концов, неисчислимого духовного богатства, обретенного нами, — мы находим теперь правильное отношение не только к отдельным людям и общественным порядкам и течениям, но и к коллективным, сверхиндивидуальным живым организмам. То, что раньше мы в лучшем случае лишь смутно ощущали, мы теперь понимаем и видим: именно, что эти сверхиндивидуальные целые суть живые духовные существа, которые имеют свою собственную ценность и судьба которых определяет и нашу личную судьбу. Через происшедшее преодоление внутренней замкнутости нашей души, через ее раскрытие и приобщение к всеединной живой основе бытия мы сразу же внутренне приобщаемся и к сверхвременному всеединству людей, живущих, как и мы, в Боге и с Богом, — к сверхиндивидуальной душе церкви как единству святости и религиозной жизни, как вечной хранильнице священных истин и преданий. Из самого восприятия вечного бытия и живой близости Божеству непосредственно вытекает и восприятие церкви как живой вселенской души человечества, как соборной личности, через связь с которой мы соучаствуем во вселенском, космическом таинстве Богообщения. В ней мы имеем истинное материнское лоно всей нашей духовной жизни. А в полноте нашей конкретно земной жизни мы приобщаемся к сверхиндивидуальной душе родины, не только ощущаем, но и осмысленно понимаем ее как живое существо, как родную мать, и знаем связь нашей жизни с ее жизнью, взаимозависимость нашего и ее спасения. Мы понимаем, что она, как и весь мир, как и мы сами, погибает от слепоты, от вихрей злобы и ненависти, закрутившихся в мире, что от этой гибели нет исхода ни в каком политическом фанатизме, а есть исход лишь в духовном возрождении, в нарастании внутренне осмысленного, проникнутого любовью отношения к жизни. Мы не взваливаем более ответственности на одних — на тех, кого мы считаем нашими политическими врагами, и не кичимся более нашей собственной гражданской

добродетельностью. Мы понимаем нашу общую греховность перед родиной, нашу вину в ее гибели, в рождении слепоты и сатанинской злобы, мы полны любви и жалости к конкретной, живой душе народа, падшей ныне, как и мы сами, и сознаем, как трудно ей — и нам вместе с ней — духовно подняться после этого падения. Но вместе с верой в живого Бога, которая дает нам веру в себя самих и в людей, мы обретаем также прочную веру в родину.

Теперь мы благодарны Богу за весь пройденный нами путь, как бы тяжок он ни был. Мир и наша душа должны были пройти и через поклонение кумирам, и через горечь постепенного разочарования в них, чтобы очиститься, освободиться и обрести подлинную полноту и духовную ясность. Великая мировая смута нашего времени совершается все же не даром, есть не мучительное топтание человечества на одном месте, не бессмысленное нагромождение бесцельных зверств, мерзостей и страданий. Это есть тяжкий путь чистилища, проходимый современным человечеством; и может быть, не будет самонимением вера, что мы, русские, побывавшие уже в последних глубинах ада, вкусившие, как никто, все горькие плоды поклонения мерзости Вавилонской, первыми пройдем через это чистилище и поможем и другим найти путь к духовному воскресенью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Впервые эта тема появляется в статье С. Л. Франка «Философские предпосылки деспотизма».

[2] Евангелие от Матфея 22:21

[3] Освальд Шпенглер (1880-1936) — немецкий философ, автор «Заката Европы».

[4] Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день ...»)

[5] Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»

[6] Агнцы боле тут

Жертвой не падут,

Но людские жертвы без числа.

(Пер. А. К. Толстого)

[7] Задор, озорство, шалость (нем.).

[8] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина»

[9] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума»

[10] Из драмы А. Н. Островского «Лес»

[11] Евангелия от Матфея 5:3, Иоанна 12:47, Иоанна 14:6, Матфея 11:28, Матфея 11:30.

[12] Августин, Исповедь, кн. VII, глава 10; О граде Божием, кн. 11, глава XXVI.

[13] Платон, Государство, 7, 519d.

[14] I Послание к Коринфянам 1:23.

[15] Евангелие от Матфея 7:13-14.

